

СКАЗКИ ПРОКЛЯТОГО ГОРОДА ТЁМНОГО



ВОЛК КНЯЗЬ

ТОМ IV

СОДЕРЖИТ
НЕЦЕНЗУРНУЮ
БРАНЬ

18+

Волк Князь

**Сказки проклятого
Города Тёмного. Том IV**

«Автор»

2026

Князь В.

Сказки проклятого Города Тёмного. Том IV / В. Князь —
«Автор», 2026

Вы когда-нибудь пили чай с тем, кто сломал время? Город Тёмный не становится ближе. Он ждёт. Здесь охотница меняет воспоминания на свободу. Здесь последний лепрекон учит смеяться там, где умерли краски. Здесь поэт записывает стихи на стене — потому что тетрадь сожгли, а песню — нет. Двенадцать дверей. Двенадцать шагов сквозь ржавчину, боль и свет. Встречайте капитана, который потерял лодку, но нашёл Сухое Место. Хакера, который не взломал систему — стал её паролем. Писаря, который двадцать лет нёс письмо тому, кто забыл своё имя. Это — не сказки о героях. Это — голоса тех, кто бьёт в колокол, когда вокруг тишина.

Содержание

Последний смех Лонана	5
Глава 1. Тот, кого не видят	6
Глава 2. Тень под кроватью	9
Глава 3. Чернильные воспоминания	13
Глава 4. Оттепель и мороз	17
Глава 5. Слезы, что текут под землей	20
Глава 6. Урок для того, кто видит	23
Глава 7. Шум и тишина моста Толкина	26
Глава 8. Цена памяти и холм под стеклом	30
Глава 9. Последняя мелодия холма	33
Танатос Рождение из Раны	37
Глава 1. Недобрый час	38
Глава 2. Дорога Архивариуса	41
Глава 3. Чернила из тени	45
Глава 4. То, что помнит	48
Глава 5. Суд над тенями	52
Опричник	57
Глава 1. Опричник	58
Глава 2. Шепот во тьме	60
Глава 3. Скорodomье	63
Глава 4. Отчёт	66
Глава 5. Маяк	69
Глава 6. Архивариус	72
Глава 7. Ничья земля	76
Глава 8. Обратный след	80
Глава 9. Краеугольный камень	84
Глава 10. Псарь	89
Чешир и Шатком Городе Ключ от Хаоса	93
Глава 1. Дым вместо кожи	94
Конец ознакомительного фрагмента.	96

Волк Князь

Сказки проклятого Города Тёмного. Том IV

Последний смех Лонана

«Говорят, память умирает первой. Врут. Первым умирает смех. А я намерен смеяться последним — даже если для этого придётся стать историей.»

— Лонан, последний лепреккон Дублина

Глава 1. Тот, кого не видят

Дождь в Дублине — не вода, а состояние души. Он не льет, не хлещет, а висит. Мелкая, холодная взвесь, стирающая границы между камнем и небом, между прошлым и настоящим. Именно в такую погоду невидимость давалась Лонану легче всего.

Он сидел на ограде заброшенной церкви Святого Кевина, свесив ноги в поношенных, но добротных ботинках. Его черная шляпа, намокшая, отливала как воронье крыло, надежно укрывая яркую копну рыжих волос — последний огонек в этом сером мире. Грубая, будто вырезанная из старого дуба кожа лица не морщилась от сырости; он к ней привык. Привык ко многому за свои... сколько ему было? Лучше не думать. Думать — значит вспоминать, а вспоминать — значит чувствовать ту самую тяжесть под левой реберной костью. Тоску по тому, чего уже нет.

Перед ним кипел туристический маршрут. Группы в одинаковых плащах-дождевиках, похожих на беспокойных разноцветных духов, слушали гидов.

«...а здесь, по легенде, лепрекон по имени Ларад оставил свой горшочек...»

Лонан фыркнул. Горшочек. Всегда горшочек. Никто не помнил, что Ларад был великолепным сапожником и заколдовал свои туфли так, что они сами танцевали джигу. Но эту историю не продать на магнитике.

Он почувствовал знакомое щемящее чувство — желание пошалить, напомнить о себе. Хоть кому-то. Шепнул на древнем языке, который звучал как шелест сухих листьев, в сторону жирного голубя, деловито клевавшего крошки:

«Превратись в камень, глупая птица, всего на миг сердечный...»

Магия вышла хриплой, споткнувшейся. Голубь не превратился в статую. Он лишь резко дернул головой, замер, и его перья на секунду приобрели серый, гранитный оттенок, а глазки стали стекляннопустыми. Потом птица отчаянно захлопала крыльями и с громким, обвиняющим воркованием умчалась в серую высь.

«Эх, — прошептал Лонан, разглядывая свои морщинистые ладони. Они сегодня казались чуть более прозрачными на краях. — И эта шутка с треском провалилась».

Он собирался раствориться в тени церковной арки, как вдруг его взгляд, скользящий по толпе, наткнулся. Наткнулся и зацепился.

Девочка. Стояла в стороне от группы, прислонившись к мокрой стене. Наушники, капюшон, черные одежды, сливающиеся с камнем. Но не это. Она не пялилась на телефон. Она смотрела прямо перед собой. А ее взгляд... ее взгляд был сфокусирован. Не рассеянно скользил по пространству, где он сидел. Нет. Он был устремлен на него. Прямо на его заостренное ухо, выглядывающее из-под шляпы, на его черную куртку, на его несоответствующую реальности сущность.

В груди Лонана что-то ёкнуло. Не страх. Нечто острое, забытое. Узнавание.

«Не может быть, — пробормотал он. — Сплошное наваждение. От сырости глаза стареют».

Чтобы проверить, он медленно, с преувеличенной театральностью, поднес руку к кончику носа и скорчил самую нелепую гримасу, на которую был способен: скосил глаза к переносице, вытянул губы трубочкой и пошевелил ушами. Гримасу, от которой сто лет назад хохотали фейри в лунных полянах.

Девость не засмеялась. Не отвела взгляд. Ее брови под капюшоном слегка поползли вверх. В ее взгляде читалось не изумление, а... усталое раздражение. И понимание. Как будто она видела не лепрекона, а очередную проблему в и без того сложный день.

Это было слишком. Впервые за столетия Лонан почувствовал неловкость. Жар прилившей к щекам крови (да, у него она еще была!) проступил сквозь грубую кожу.

«Ну нет, — проворчал он. — Такой спектакль не для моего репертуара».

Он спрыгнул с ограды, не издав ни звука, хотя камень под ним должен был скрипнуть. Малейшее колыхание воздуха — и он шагнул в глубокую тень арочного проема. Не телепортировался — эта мощь давно покинула его. Просто стал частью тени, неподвижным, дышащим раз в минуту пятном темноты.

Он наблюдал.

Девочка нахмурилась. Ее глаза просканировали то место, где он только что сидел, затем медленно переползли на арку. Она сняла один наушник. Прислушалась. Не к шуму дождя или толпы — а к тишине внутри шума. Потом, с обреченным вздохом, натянула капюшон глубже и пошла прочь, растворившись в потоке людей.

Лонан вышел из тени. Дождевая взвесь снова осела на его шляпу.

Сердце (то самое, под ребром) стучало странно, учащенно. Это был не страх.

Это был звонок. Тихий, далекий, но ясный. Звонок, который будил спящую внутри боль.

Кто она? Как она?

Он потрогал полями шляпы, почувствовав под подкладкой твердый, знакомый контур старой кожаной карты. Карты, на которой не осталось ни одного яркого, пульсирующего места силы. Только бледные, угасающие точки.

И вдруг, на краю его восприятия, едва уловимо, дрогнула одна из этих точек. Та, что была обозначена как «Сердце города. Перекресток старых дорог». Она не вспыхнула. Она... померкла еще сильнее, будто ее накрыла чернильная клякса.

Лонан вздрогнул. Он знал этот холодный привкус в воздухе. Это был не просто душевный холод. Это был вкус Серости. Той самой, что пожирала последние краски его мира.

«Интересно, — прошептал он в мокрый воздух, и в его голосе впервые за многие годы прозвучала не театральная, а настоящая, живая тревога. — Неужели шутка, наконец, поворачивается ко мне лицом? Или это просто начало конца?»

Он поправил шляпу, в последний раз окинул взглядом улицу, где исчезла девочка, и шагнул вперед. Не в тень, а в серую пелену дождя, навстречу первому за долгое время лучу настоящего, нелукавого любопытства.

А на мокром камне ограды, где он сидел, осталось два едва заметных, быстро исчезающих отпечатка от маленьких, аккуратных ботинок. И ни один человек, проходя мимо, не обратил бы на них внимания.

Глава 2. Тень под кроватью

Лонан не искал ее специально. Он бродил по городу, как тень, следуя за подрагивающим кончиком своего внутреннего компаса. Точка на карте под шляпой, та самая, что померкла, вела его в район старых георгианских домов, ныне поделенных на квартиры. Здесь пахло сыростью, старой краской и тихим отчаянием. Совсем не то место, где стоит искать магию. Разве что магию выживания.

Его привел сюда запах. Не физический, а тот, что чувствовался лишь краем души. Запах страха, смешанного с недетским холодом. Запах Серости, прицепившейся к чему-то живому. Он стоял у подножия кирпичного дома, вглядываясь в темные окна, когда услышал шаги.

Быстрые, резкие. Он узнал походку еще до того, как увидел фигуру. Девость. Мэйв. Она шла из магазина с пластиковым пакетом в одной руке, в другой сжимая ключи, как кастет. Лицо было бледным, глаза — огромными от недосыпа и напряжения. Она не замечала его, погруженная в свои мысли, и чуть было не прошла мимо.

Лонан откашлялся. Негромко, но достаточно, чтобы звук не потерялся в шуме города.

Мэйв замерла. Медленно повернула голову. Увидела его, стоящего в глубокой нише у парадной двери, и ее лицо не выразило ни удивления, ни страха. Только глухую, беспросветную усталость.

«Ты, — сказала она плоским голосом. — Призрак. Гоблин. Что ты такое?»

«Разочарование для коллекционера сувениров, — ответил Лонан, снимая шляпу в легком, театральном поклоне. Рыжие волосы вспыхнули тусклым медным светом в сером воздухе. — Лонан, к твоим услугам. И, судя по твоему виду, услуги тебе отчаянно нужны.»

Она сжала губы. «Отвали. У меня нет времени на... на костюмированные шоу.»

Она сделала шаг к двери, но Лонан не двигался с места. Его голос потерял оттенок шутовства, став тихим и серьезным.

«Она перестала смеяться, да? Твоя сестра. А вчера... вчера она заговорила на языке, которого не учила. Стихи, скорее всего. Старые. Печальные.»

Ключи выпали из руки Мэйв с глухим лязгом. Она стояла, не дыша, глядя на него широко раскрытыми глазами. В них плескалась паника, гнев и — самое главное — безумная, хватательная надежда.

«Ты... как ты...»

«Я вижу, детка. Вижу то, что ест тишину. И сейчас от твоего дома пахнет именно этим. Пахнет так, что у меня в глазах темнеет.» Он снова надел шляпу, как будто готовясь к бою. «Можно войти? Или ты предпочитаешь, чтобы я помогал, стоя здесь, под дождем, и пугая соседей?»

Мэйв, все еще дрожа, подобрала ключи. Ее пальцы плохо слушались. Она молча кивнула, повернулась к двери и, после нескольких неудачных попыток, открыла ее.

Квартира была маленькой, уставленной дешевой мебелью, но чистой. Пахло чаем и печеньем — попыткой создать уют, которая не удалась. Уют здесь съедало что-то другое. Воздух был тяжелым, густым, будто перед грозой, только без озона. Здесь пахло старым.

«Мама на двух работах, — коротко бросила Мэйв, бросая пакет на кухонный стол. — Она... она не верит. Говорит, у Эйлин депрессия. Что это возрастное. Назначает ей таблетки, которые не помогают.»

«А ты веришь?» — спросил Лонан, медленно осматриваясь. Его взгляд задержался на двери в конце узкого коридора. Оттуда и лился тот самый холод.

«Я верю тому, что вижу, — хрипло сказала Мэйв. — А я вижу... вижу слишком много. Всегда видела. Вот и тебя увидела. И теперь не знаю, радоваться этому или плакать.»

Она повела его к той двери. Открыла ее без стука.

Комната была комнатой девочки лет десяти. Постеры с мультяшными героями, розовое покрывало, плюшевые игрушки на полке. И все это было будто приглушено, покрыто слоем пыльной вуали. В кресле у окна сидела девочка, Эйлин. Она смотрела в стекло, но взгляд ее был пустым и направленным куда-то внутрь себя. В руках она сжимала старую тряпичную куклу. На щеках у нее не было слез. Не было вообще ничего.

«Эйлин, — мягко позвала Мэйв. — К нам гость.»

Девочка медленно повернула голову. Ее глаза, такого же зеленого оттенка, как у сестры, скользнули по Лонану. И в них не было ни страха, ни удивления. Только легкое, отстраненное любопытство, как к новой мебели.

«Привет, старичок, — тихо сказала Эйлин. Голос у нее был тонким, безжизненным. — Ты пришел за мной?»

Лонан сжал кулаки внутри карманов куртки. Он шагнул ближе, опустил на корточки, чтобы быть с ней на одном уровне. Его добрые, морщинистые глаза внимательно изучали ее лицо.

«Нет, крошка. Я пришел погостить. Мне сказали, у тебя интересные игрушки.»

«Игрушки скучные, — прошептала Эйлин. — Они молчат. А Она шепчет. Все время шепчет.»

«Кто Она?» — спросил Лонан, и его голос стал тише шелеста падающей пыли.

Эйлин подняла руку и ткнула пальцем в пространство под своей кроватью. Там царил обычная, густая темнота. Ничего особенного. Но Лонан почувствовал. Холодный, липкий поток, вытекающий оттуда. Он не был похож на призрака или демона. Это было просто... отсутствие. Отсутствие света, звука, тепла, мысли. Голодная пустота.

«Она говорит, что там, где Она живет, тихо. Очень тихо. И Она хочет, чтобы здесь тоже стало тихо. Чтобы я помолчала. Навсегда.»

Мэйв, стоявшая в дверях, подавила рыдание, прижав ладонь ко рту.

Лонан не отводил взгляда от темноты под кроватью. Он видел теперь форму этой «Тихой Тени». Она была как черная дыра в ткани реальности, медленно растущая.

«Она говорит тебе стихи?» — спросил он.

Эйлин кивнула. И вдруг ее губы, бледные и сухие, пошевелились. Зазвучал голос, но это был не ее голос. Он был старше, без пола, монотонный, словно капающая в пустой колодец вода:

«Я тот, кого забыли в поле под дождем,
Чье имя стерто, чей не зажжен костер.
Моя песня — тишина, мой удел — немой разлом,
И я заберу твой смех, чтобы стать чуть плотней,
сестренка...»

На последнем слове голос перешел на ледяющий шепот, полный ненасытной тоски.

Мэйв вскрикнула. Лонан резко встал, заслонив собой девочку. Из-под полей его шляпы на мгновение брызнул яростный золотистый свет — последний огонек настоящей, не угасшей ярости. Шепот под кроватью затих, отполз, затаился.

«Все, — сказал Лонан, обернувшись к бледной как полотно Мэйв. Его лицо стало строгим, древним, как скалы Коннемары. — Шутки кончились. Это не болезнь. Это охота. И охота — на моей территории.»

Он посмотрел на Эйлин, которая снова уставилась в окно, будто ничего не произошло.

«Я помогу. Но тебе, — он ткнул пальцем в сторону Мэйв, — придется работать. Не как маг. Как свидетель. Как тот, кто помнит и видит. Согласна?»

Мэйв вытерла лицо, сжала кулаки. В ее глазах, полных слез, загорелся тот самый огонек — не магический, а человеческий. Яростный и решительный.

«Что нужно делать?»

Лонан снова потрогал полы шляпы.

«Сначала — найти то, что эта Тень забыла. Ее имя. А для этого нам нужна будет память. Не твоя и не моя. Память самого города. Нам нужно место, где стены еще помнят шепоты. Идем. У нас мало времени до заката.»

Он бросил последний взгляд на темное пространство под кроватью.

«Держись, крошка, — прошептал он Эйлин. — Мы идем за светом.»

И, взяв ошеломленную, но готовую на все Мэйв за локоть, он повел ее из комнаты, из квартиры, обратно в серый дождь — навстречу первому настоящему приключению за последние сто лет.

Глава 3. Чернильные воспоминания

Дождь не утихал, но теперь он казался союзником. Он скрывал их от чужих глаз, делал улицы похожими на размытую акварель. Мэйв шла рядом с Лонаном, стараясь не отставать от его быстрых, почти бесшумных шагов. Она не спрашивала, куда они идут. Ей хватало сил просто идти, сжимая в кармане ключи до боли в пальцах. В голове стоял гул: голос сестры, тот чужой, мёртвый голос.

«Ты уверен, что знаешь, что делаешь?» — наконец сорвалось у нее. Голос звучал хрипло.

«Уверен? Нет, — Лонан не обернулся. — Но я знаю, что не делать нельзя. Твоя сестра — как свеча на сквозняке. Пламя уже едва теплится. Сквозняк нужно перекрыть.»

«Перекрыть как?»

«Вернув Тени то, что она потеряла. Ее имя. Без имени она — просто чувство. Тоска. Забвение. С именем... с именем с ней можно поговорить.»

«Поговорить?» — Мэйв фыркнула. — «О чем говорить с... с этим?»

«О том, почему она не ушла туда, где ей место. Всегда есть причина. Или боль.»

Он свернул в узкий переулок, заваленный мусорными баками. В конце переулка стояло невзрачное кирпичное здание с вывеской, которую почти съела ржавчина: «*Типография «Голос Харта». 1898-1973*». Окна были забиты фанерой, дверь — заварена сваркой. Но одна дверь, боковая, для служебного входа, висела на одной петле, приоткрытая в черную щель.

«Здесь, — сказал Лонан, остановившись перед ней. — Место, где слова становились плотью. Ну, или бумагой. Бумага — отличная губка для памяти. Особенно старая.»

«Заброшенная типография? Это и есть твое «место силы»?» — в голосе Мэйв звучало разочарование.

«Сила бывает разная, детка. Не все сияет и греет. Некоторые силы... шепчут. Иди за мной. И постарайся ничего не трогать. Особенно тени, которые кажутся гуще, чем должны быть.»

Он ловко юркнул в щель. Мэйв, сделав глубокий вдох, последовала за ним.

Внутри пахло пылью, плесенью и чем-то едким — застывшей типографской краской. Слабое серое свечение пробивалось сквозь щели в фанере, выхватывая из темноты гигантские остовы печатных машин, похожие на скелеты доисторических зверей. Горы пожелтевшей бумаги. Но самое странное — тишина. Она была неполной. В ней, если прислушаться, звенело. Тихий, высокий гул, как от далекого трансформатора.

«Не смотри в глаза отражениям в стекле, — предупредил Лонан, ведя ее между станков. — Здесь много эхо. Отражения не всегда твои.»

Мэйв машинально посмотрела на черное стекло разбитого окна и увидела в нем не одну, а три своих фигуры, стоящие под разными углами. Она резко отвела взгляд, сердце заколотилось.

Лонан привел ее в дальний угол, к старому дубовому верстаку, на котором лежала стопка газет. Они выглядели свежими, будто их только что напечатали. Заголовки на них были размыты, нечитаемы.

«Они не помнят, о чем писали, — объяснил Лонан, проводя рукой над бумагой. Пальцы его оставляли на пыли светящиеся бороздки. — Но они помнят эмоции. Сенсацию. Радость. Горе. Страх. Нам нужен страх. Тот, что превратился в тишину.»

Он закрыл глаза, положил ладонь на верхний лист и начал шептать. Слова были на том же странном, щебечущем языке. Свет от его пальцев стал пульсировать.

И тогда комнату наполнили голоса.

Не громкие. Не рядом. Как будто из соседней комнаты, сквозь толстую стену. Обрывки фраз, вздохи, скрип полозьев прессы, чей-то сдавленный плач. Воздух стал леденеть. Мэйв обхватила себя руками.

«Что-то здесь не так, — прошептал Лонан, не открывая глаз. — Не тот страх. Это свежий страх. Человеческий.» Он открыл глаза, и они горели тревогой. «Кто-то был здесь недавно. И оставил после себя... дыру.»

Он резко обернулся, и взгляд его упал на темный проход, ведущий в подвал. Дверь в полу была приоткрыта. И из нее, как из открытого морозильника, тянуло тем самым, знакомым Мэйв холодом. Тем же, что и из-под кровати Эйлин. Только сильнее.

«Они здесь, — сказал Лонан тихо. — И они не просто охотятся. Они готовятся.»

Он двинулся к люку. Мэйв схватила его за рукав.

«Подожди! Что там? Кто «они»?»

«Те, кого ты назвала Безликими. Те, кто позволил Серости съесть себя дочиста. Они — живые инструменты. И они роют. Рывины в реальности. Чтобы в Ночь Самайна все провалилось в тишину разом.»

Он осторожно спустился по скрипучей лестнице в подвал. Мэйв, стиснув зубы, поплелась за ним.

Подвал был затоплен на несколько сантиметров черной, маслянистой водой. И в центре его, в круге, очищенном от хлама, стояли три фигуры. Они были в рваной, немодной одежде. Не двигались. Не дышали. Просто стояли лицом друг к другу, образуя треугольник. Их лица были размыты, как на старом, испорченном фото. Ни глаз, ни рта, ни носов — только бледные, гладкие овалы.

«Безликие... — прошептала Мэйв, и ее голос эхом отозвался в сыром помещении.»

Один из них медленно, с скрипом несмазанной куклы, повернул свою «голову» в их сторону.

Лонан выступил вперед, заслонив Мэйв. Его рука сжалась в кулак.

«Уходите, — сказал он голосом, в котором не осталось ни капли лукавства. Это был голос старой силы, голос камня и корней. — Это место не для вас. Вы не найдете здесь того, что ищете.»

Безликий не ответил. Он просто поднял руку и указал пальцем — нет, не на Лонана. На Мэйв.

Из темноты за спинами Безликих выполз шепот. Тот самый, что слышала Эйлин. Но теперь он звучал отчетливее, собраннее:

«...девочка, которая видит... возьми ее зрение... добавь к тишине...»

Вода вокруг их ног забурлила. Из нее начали подниматься черные, как чернила, тени, принимая нечеткие, человекообразные формы. Тихой Тени становилось больше. Она питалась этим местом, этой заброшенной памятью.

«Мэйв, — быстро сказал Лонан, не отводя глаз от теней. — Там, на стене! Видишь старый наборный кассник? Ящички с буквами!»

Мэйв, дрожа, кивнула.

«Ищи имя! Не глазами — чувством! Какие буквы кажутся тебе самыми холодными? Самыми... забытыми? Шепчи их мне!»

Это было безумие. Но выбора не было. Мэйв оторвала взгляд от надвигающихся теней и уставилась на старый, ржавый шкаф с сотнями маленьких ящичков. Она пыталась не думать, просто чувствовать. И через секунду она увидела. Не глазами. Три ящичка, казалось, излучали морозный, тусклый свет среди общей серости. «К», «О», «Р».

«К... О... Р...» — прошептала она.

«Снова! Громче!» — крикнул Лонан. Одна из теней протянула к нему щупальце из тьмы. Он взмахнул рукой, и в воздухе вспыхнула золотистая искра, отбросив тень назад.

«КОР!» — почти закричала Мэйв.

Лонан вскинул голову. Его глаза расширились. Он понял.

«Не «Кор»! Корм! Пропущена «М»! Корм!»

Он повернулся к Тени, которая уже почти заполнила половину подвала, и его голос грянул, как удар колокола, заглушая шепот:

«КОРМАК!»

На воздухе повисла тишина. Настоящая, оглушительная.

Шепот прекратился.

Тени замерли, затем начали таять, как сажа в воде.

Безликие пошатнулись. Их размытые лица исказились что-то вроде муки, и они, не поворачиваясь, попятнулись в самую тьму подвала, растворившись в ней.

Холод отступил, сменившись сырой, но нейтральной прохладой заброшенного помещения.

Лонан тяжело дышал, опираясь о стену. Он выглядел потрепанным, постаревшим на десять лет за одну минуту.

«Кормак... — прошептал он. — Заблудившийся пастух. Потерял свое стадо, а потом и себя. Ищущий то, что забыл...»

Он посмотрел на Мэйв. Она стояла, обняв себя, вся в мурашках, но в ее глазах горело что-то новое. Не просто страх. Понимание.

«Ты... ты назвал его. И он ушел.»

«Не ушел. Отступил. Вспомнил на миг, кем был. Этого хватит, чтобы он отпустил твою сестру. На время.» Лонан выпрямился, поправил шляпу. Его лукавая ухмылка вернулась, но была слабой. «Ну что, ученица? Первый урок: у всего есть имя. И иногда этого достаточно, чтобы выиграть битву.»

Он посмотрел на люк, ведущий наверх, затем на темный угол, куда ушли Безликие.

«Но война... война только начинается. Они копают. И нам нужно узнать, где следующий тоннель. Идем. Нужно проверить сестру.»

И они выбрались из типографии, оставив позади шепчущие стены и черную воду, в которой теперь отражались лишь разбитые окна и пыль.

Глава 4. Оттепель и мороз

Возвращались они молча. Дождь превратился в мелкую, колючую крупу, которая звенела по жестяным крышам. Мэйв шла, уткнувшись взглядом в спину Лонана, в его черную куртку, на которой капли оставляли серебристые следы. В ушах все еще стоял гул из типографии, смешанный с эхом произнесенного имени: Кормак.

«Она... она поправится?» — наконец выдавила Мэйв, когда они подходили к ее дому. Голос звучал хрупко, как тонкий лед.

«Тень отпустила хватку. Но след останется. Как шрам от обморожения. Ей будет нужно тепло. Настоящее. Не от батареи. От смеха, от объятий, от глупых историй.»

Он остановился у парадной, нерешительно поправил шляпу. «Я... подожду здесь. Если войду, а там все еще будет эхо Серости... это может привлечь внимание.»

Мэйв кивнула, понимая больше, чем могла выразить словами. Она вбежала в подъезд, по лестнице, к своей двери. Руки дрожали, когда она вставляла ключ.

Тишина в квартире была уже другой. Не густой, удушающей, а просто... домашней, пустой. Она сбросила мокрую куртку и осторожно заглянула в комнату сестры.

Эйлин спала. Не в кресле, а в кровати, укрытая одеялом. Кукла лежала рядом, а не в мертвой хватке. Лицо девочки было расслабленным, без той страшной отрешенности. Она просто спала. Глубоким, исцеляющим сном. На полу возле кровати Мэйв заметила что-то. Она наклонилась. Это был детский рисунок, наспех набросанный карандашом. На нем было изображено что-то вроде овцы и палочки-человечка. И подпись корявым почерком: «Кормак нашел дорогу».

Слезы навернулись на глаза Мэйв, но это были слезы облегчения. Она вытерла их, вышла в коридор и открыла входную дверь.

Лонан стоял там, где она его оставила, но его поза была напряженной. Он смотрел не на нее, а куда-то вверх, вдоль стены дома, шепча что-то себе под нос.

«Она спит. Нарисовала... овцу. Спасибо.»

Он медленно перевел на нее взгляд. В его морщинистом лице не было триумфа. Была усталость и тревога.

«Это хорошо. Но это не конец, Мэйв. Это пауза.» Он вытащил из-под шляпы ту самую кожаную карту. Развернул ее прямо на мокром крыльце. «Посмотри.»

Мэйв присела рядом. Карта была странной. Это была схема Дублина, но не современная. На ней были обозначены холмы, ручьи, которых уже не было. И на ней светились (вернее, тлели) несколько точек. Одна — в районе типографии — теперь была почти черной, как выжженная дыра. От нее расходились тонкие, едва заметные серые линии, как трещины, к другим точкам.

«Они не просто копали яму в типографии, — сказал Лонан, водя пальцем по одной из линий. — Они соединяли точки. Создавали... схему. Контур. Каждая "тонкая" точка — как узел на сети. Если активировать их все в определенном порядке...»

«...то что?» — спросила Мэйв, чувствуя, как холодеет внутри.

«То сеть захлопнется. И просеет мир, как сито. Все яркое, звонкое, живое — магия, сильные эмоции, память — просочится сквозь дыры и исчезнет. Останется только... фон. Серый, тихий, плоский фон. Вечное «почти ничего».»

Он ткнул пальцем в следующую точку на линии, исходящей от типографии. Она была чуть ярче, но пульсировала тревожным, болезненным светом. Рядом с ней были начертаны странные символы.

«Что это за место?» — спросила Мэйв.

«Мост Толкина. Старый, пешеходный, через реку, которая теперь течет в трубе под землей. Место, где... где прощались навсегда. Где давали обещания, которые не сбылись. Там много невыплаканных слез и несказанных слов. Идеальный питательный бульон для Серости.»

«И мы идем туда? Сейчас?»

«Нет. Сейчас мы идем готовиться. И ты, детка, получишь свой первый настоящий инструмент.» Он сложил карту и спрятал ее. «Кормить Серость можно только одним — забытыми историями. Противопоставить ей можно только одно — истории вспомненные. У тебя есть что-то, что сильно связано с тобой? Не телефон. Что-то старое. Что-то с историей.»

Мэйв задумалась. Потом кивнула и скрылась в квартире. Через минуту она вернулась с маленькой, потрепанной книжкой в тканевом переплете.

«Сборник ирландских сказок. Бабушка читала мне из него. Когда она умерла... я перестала его открывать. Слишком больно.»

Лонан взял книгу почти с благоговением. Провел ладонью по обложке.

«Идеально. Боль — это тоже память. Это анкеровка в реальности.» Он открыл книгу на случайной странице, вырвал один лист (Мэйв чуть не вскрикнула от протеста) и свернул его в плотную трубочку. Потом достал из кармана куртки маленький рогозный свисток на кожаном шнурке и обмотал им бумажную трубку.

«Что это?»

«Не оружие. Сигнализация. И якорь. Если тьма начнет затягивать тебя, подуй в него. Звук будет ни на что не похож. Он напомнит тебе самой, кто ты. А еще... — он помедлил, — он позовет меня. Но только в крайнем случае. Потому что мой приход в такое место будет как факел в пороховом погребе.»

Он протянул ей самодельный амулет. Мэйв взяла его. Бумага была теплой.

«А что ты будешь делать?»

«Я пойду на разведку. Посмотрю, насколько они продвинулись у моста. А ты останешься с сестрой. Ей нужна ты. А тебе... нужно поспать. Завтра будет длинный день. И, Мэйв, — он посмотрел на нее прямо, его глаза в сумерках светились, как у старой кошки, — не смотри сегодня в зеркала после полуночи. Отражения могут быть... неверными.»

Не дожидаясь ответа, он повернулся и зашагал прочь, растворившись в сгущающихся сумерках и дожде так быстро, будто его и не было.

Мэйв заперла дверь, прижалась спиной к дереву. В руке она сжимала теплую бумажную трубку. Из комнаты доносилось ровное дыхание Эйлин.

Она была больше не одна в этой безумной войне с тишиной.

Но почему-то это не делало ее спокойнее. От мысли, что Лонан сейчас один идет в то самое место, откуда тянулись серые линии, становилось только страшнее.

Она подошла к окну, отдернула занавеску. Улица была пуста. Только фонарь мерцал через завесу дождя, отбрасывая длинные, пляшущие тени.

И на мгновение ей показалось, что одна из этих теней — не от фонаря. Что она двигалась сама по себе. Медленно, неуклонно, в сторону, куда ушел лепреккон.

Мэйв резко опустила занавеску.

Завтра.

Завтра они пойдут на мост.

Глава 5. Слезы, что текут под землей

Лонан не любил это место. Даже когда река Пуддел еще журчала на поверхности, а мост Толкина был новым и крепким, здесь всегда витал привкус окончательности. Здесь прощались. Солдаты — с женами. Эмигранты — с родиной. Влюбленные — друг с другом, когда чувства превращались в пепел. Мост впитывал эти прощания, как губка, и теперь, когда реку упрятали в трубу, а сам мост стал пешеходной диковинкой для туристов, слезы никуда не делись. Они просто ушли вниз. В сырость. В камень. В тишину.

Он стоял в тени арки соседнего здания, сливаясь с гранитной кладкой. Его шляпа была низко надвинута, а руки засунуты в карманы куртки, сжимая там что-то мелкое и твердое — три речных камешка, еще помнивших солнечный свет.

Мост был пуст. Фонари бросали на его старую каменную кладку желтые, болезненные пятна. Дождь почти прекратился, оставив после себя холодную, звенящую влагу в воздухе. Все выглядело обыденно. Слишком обыденно.

Лонан закрыл глаза. Отключил зрение. Включил ощущение.

Сначала — фон. Гул города, далекие гудки, шаги одинокого прохожего где-то позади. Потом — ближе. Шепот влажного камня. Стоны железа перил. И... да. Там. Под мостом. Не в трубе с водой, а в самом пространстве под аркой. Холодная, тягучая пустота. Не такая агрессивная, как в типографии. Здесь она была старше. Глубже. Как незаживающая рана, которая не болит, а только ноет.

Он открыл глаза и шагнул из тени. Его шаги по мокрой брусчатке не издавали звука. Он подошел к перилам, выглянул в темноту под арку моста. Фонарный свет туда не доставал. Там была лишь чернота, густая, как деготь.

И тогда он увидел их. Не глазами.

По краям моста, в нишах, где когда-то стояли фонари, теперь стояли они. Безликие. Не три, как в типографии. Пять. Они образовали не треугольник, а полукруг, обращенный к черноте под мостом. Они не двигались. Они даже не стояли. Они были вмурованы в сам воздух, как жуткие кариатиды, подпирающие невидимый архитрав печали.

Лонан почувствовал, как по спине пробежал ледяной пот. Их было слишком много для одной точки. Значит, эта точка — ключевая. Узел.

Он осторожно, стараясь не привлекать внимания (хотя вниманием здесь пахло иначе — всепроникающим равнодушием), двинулся по мосту, держась подальше от перил. Ему нужно было понять масштаб. Что они «копали» здесь?

На середине моста он остановился. Здесь, под ногами, на одном из камней, был едва заметный знак. Не краской. Камень будто сам просел, образовав впадину в форме странного символа: круг с тремя лучами, уходящими внутрь, к центру. Знак поглощения. Знак забвения.

Лонан присел, едва не касаясь камня пальцами. Он почувствовал исходящий от знака вытягивающий импульс. Как будто этот камень — сток в раковине мира. Сюда стекали не воды, а... что? Воспоминания? Последние слова прощаний? Обрывки обещаний?

«Я вернусь, клянусь...»

«Прости меня...»

«Не забывай...»

Эхо мыслей, застрявших здесь десятки лет назад, прошелестело на краю его восприятия. Их вытягивало из камня, из воздуха, из самой ткани места и утягивало вниз, под мост, в ту черноту, где их перемалывала в тихий, безликий прах Серость.

Это был не просто ритуальный знак. Это был насос. Насос для откачки души из места.

И тут Лонан понял нечто ужасное. Он посмотрел на Безликих. Они не просто охраняли. Они питались. Не сами — они были проводниками. Они качали эту вытянутую тоску в себя, пропускали через свои пустые формы и отдавали дальше, по серым линиям на его карте, усиливая общую сеть. Каждая точка не просто соединялась — она усиливала следующую. Типография была слабым звеном, началом. Мост Толкина — усилителем. А что будет конечной точкой? Местом, куда сольется все выкачанное?

Холодный ужас, острый и ясный, сжал его горло. Он слишком долго думал о локальных Тенях, о спасении одной девочки. Он не видел картины. А картина была грандиозной и чудовищной. Кто-то или что-то строило машину. Машину по производству Ничто.

Резкий, ледяной ветерок, которого не могло быть в этой закрытой арке, коснулся его щеки. Он донес до него шепот. Не тот, что слышала Эйлин. Другой. Множественный. Сотни, тысячи голосов, слившихся в один монотонный поток:

«...забудь... отпусти... не чувствуй... не помни... все равно...»

Это был голос самого места, отравленного насосом. Голос Серости, становящийся самосознающим.

Лонан отпрянул от знака. Ему нужно было предупредить Мэйв. Нужно было думать не о том, как спасти точку, а о том, как разорвать сеть. Но как? Уничтожить насос? Для этого нужно было... что? Наполнить его чем-то настолько ярким, живым и незабываемым, что он лопнет?

Мысли метались. Он обернулся, чтобы уйти, и замер.

На другом конце моста, у выхода, стояла фигура. Не Безликий. Это была женщина. Или то, что выглядело как женщина. Длинное, мокрое, как от речной воды, платье. Лица не было видно — закрывало темными, спутанными волосами. Она просто стояла, глядя в его сторону. И от нее не исходило ни угрозы, ни холода. От нее исходила... бесконечная, всепоглощающая печаль. Такая глубокая, что рядом с ней хотелось сесть на землю и разучиться улыбаться навсегда.

Плакальщица, — мелькнуло в сознании Лонана. Дух места. Хранительница всех этих слез. И она была здесь не случайно. Ее приковало к насосу, как маяк приманивает корабли на скалы.

Она медленно подняла руку и указала не на него. Она указала вниз, под мост. А потом ее рука плавно переместилась и указала... на восток. Туда, где по карте должна была быть следующая, еще более мощная точка.

Это был не жест угрозы. Это было предупреждение. Или приглашение?

Лонан кивнул, едва заметно. Он понял. Битва за мост будет не с Безликими. Она будет с самой Печалью. И чтобы победить, нужно не разрушить, а... переплавить ее. Сделать так, чтобы слезы не засасывались в забвение, а находили выход. Находили прощение.

Он быстро зашагал прочь, оставив мост, Безликих и немую Плакальщицу позади. В голове уже строился план. Безумный, отчаянный. Ему понадобится Мэйв. Не как свидетель, а как соучастник. Ей придется не просто вспомнить историю. Ей придется прожить ее. И рискнуть своим собственным сердцем.

Он вытащил из кармана один из речных камешков. Тот был теплым от его руки. Он шепнул ему: «Держись, старый камень. Скоро будет шумно.»

И, сунув камень обратно, последний лепреккон ускорил шаг, растворяясь в ночном городе, чтобы до рассвета успеть подготовить свою ученицу к самому важному — и самому опасному — уроку.

Глава 6. Урок для того, кто видит

Лонан вернулся на рассвете. Не в дом, а под окно Мэйв, и постучал крошечным камешком в стекло. Она спала, сидя в кресле на кухне, держа в руке свой бумажный амулет. Стук заставил ее вздрогнуть. Она выглянула в окно и увидела его бледное, усталое лицо в сером свете утра.

Через минуту она была на улице, накинув на плечи куртку.

«Ну?» — спросила она, и в ее голосе еще была хриплота сна, но уже не было паники. Была решимость.

«Хуже, чем я думал, — сказал Лонан прямо, без предисловий. Он выглядел... выцветшим. Края его фигуры снова казались размытыми. — Это не охота. Это инженерия. Они строят машину, а мост Толкина — ее сердце. Насос для откачки памяти и чувств.»

Он коротко описал ей Безликих, знак и Плакальщицу. Мэйв слушала, не перебивая, но глаза ее становились все шире.

«И что мы можем сделать против... насоса?»

«Мы можем его заклинить. Перегрузить. Наполнить тем, что он не сможет переварить. Не тишиной, а... слишком громкой правдой.»

Он достал из кармана тот самый теплый камешек и протянул ей.

«Возьми. Это якорь. Он помнит, как быть частью чего-то целого. Горы, речного дна. Он не забудет себя, даже если все вокруг забудут.»

Мэйв взяла камень. Он был гладким и удивительно теплым.

«А что делать мне? Я не могу шептать заклинания или...»

«Ты будешь делать то, что умеешь лучше всех. Ты будешь видеть. Не глазами. Ты увидишь историю Плакальщицы. Ты найдешь ее ядро — ту самую слезу, с которой все началось. И ты... вернешь ее ей.»

«Как?»

«Рассказав ей, что стало с тем, о ком она плачет. Я чувствую... это прощание было не окончательным. Что-то осталось несказанным. Незаконченным. Она не может уйти, потому что ее история зависла в воздухе, как недопетая песня. Тебе нужно допеть ее.»

Мэйв покачала головой. «Я не... я не психолог для призраков.»

«Ты — свидетель. Инструмент. Представь, что ты зеркало. Ты отразишь ей ее же историю, но покажешь ей конец. Тот, который она не видела. Для этого тебе нужно будет заглянуть в самое сердце печали. И не сломаться.» Он посмотрел на нее пристально. «Ты готова?»

Вопрос был не риторическим. Это был выбор. Мэйв сжала камень в кулаке, почувствовав его тепло, проникающее в кожу. Она думала о сестре, о ее тихом сне. О рисунке с овцой. Она кивнула.

«Да. Что нужно делать?»

«Сначала — заземлиться. Вспомни самый счастливый момент с бабушкой. Самый яркий. Не просто вспомни — почувствуй тепло ее рук, запах ее духов, звук ее голоса. Привяжи это чувство к камню. Сделай камень своей батареей против отчаяния.»

Мэйв закрыла глаза. Сначала было трудно — мешались образы больной сестры, холод подвала. Но потом... запах яблочного пирога. Шершавое прикосновение вязаного пледа. Низкий, грудной смех, когда она, маленькая, рассказывала глупый стишок. Тепло разлилось по груди. Она мысленно вложила это тепло в камень. Он в ее руке словно запульсировал.

«Хорошо, — прошептал Лонан, и в его голосе пробилась нотка одобрения. — Теперь, когда мы будем на мосту, я займу Безликих. Они не тронут тебя, пока я держу их внимание. Но это будет ненадолго. У тебя будет время подойти к Плакальщице. Дай ей камень. Скажи... скажи «Это чтобы помнить». А потом слушай. Смотри. Впусти ее историю в себя. И когда поймешь, что стало с тем человеком... скажи ей. Просто и честно.»

«А если я не пойму? Если история никуда не ведет?»

«Всякая история куда-то ведет, детка. Даже если она ведет в никуда — это тоже ответ. Иногда чтобы успокоить призрака, нужно просто сказать ему: «Его больше нет. Он свободен. И ты можешь быть свободна»».

Он помолчал. «Это опасно. Ее печаль заразна. Она может вытянуть из тебя все цвета, все радости, оставить пустую скорлупу. Держись за камень. И за этот, — он ткнул пальцем в бумажный амулет у нее на шее. — Если станет неважно — свисти. Я вытащу тебя, но миссия провалится. И мост будет потерян.»

Мэйв глубоко вздохнула. «А что ты будешь делать?»

Лонан усмехнулся, и в этой усмешке впервые за сегодня появился отблеск старого лукавства.

«Я устрою представление. Самую старую, самую дурацкую лепреконью шалость, какую только смогу выжать из себя. Я буду шутить, петь, танцевать джигу на их мерзких безликих головах. Все, что создает шум. Противоположность тишине. Это отвлечет их и, может, даже ослабит связь с насосом. Ненадолго.»

Он выпрямился, глядя на поднимающееся солнце, которое не принесло тепла.

«Идем. Лучшее время для битвы с печалью — раннее утро. Когда мир еще чист, а тени длинные и честны.»

Они пошли. Мэйв с камнем в одном кулаке и амулетом в другой. Лонан шел рядом, напевая под нос какую-то бессмысленную, бодрую песенку про пьяного гнома и потерянный носок. Но его глаза, острые и древние, постоянно сканировали переулки, тени, окна.

По пути Мэйв спросила: «А что будет, если мы победим? Навсегда?»

Лонан перестал напевать.

«Ничто не длится вечно, детка. Мы выиграем время. Повредим машину. Может, на неделю, может, на месяц. Но чтобы сломать ее навсегда... нужно найти того, кто ее построил. И вырвать у него чертежи. А для этого нужно дойти до последней точки на карте. До того места, куда все стекает.»

«И где это?»

Лонан посмотрел на восток, куда указывала Плакальщица. Его лицо стало каменным.

«Там, где раньше был холм фейри. Где теперь строят новый бизнес-центр из стекла и бетона. Там, где пытаются похоронить самую старую магию под парковкой. Конечная точка — там, где начинается настоящее забвение. Где стирают память земли.»

Он тронул полы своей шляпы.

«Но сначала — мост. Одна битва за раз.»

Они свернули за угол. Впереди, в конце улицы, виднелись старые каменные арки моста Толкина. В холодном утреннем воздухе он казался безжизненным и тихим. Слишком тихим.

Лонан остановился, давая Мэйв последний взгляд.

«Готова?»

Мэйв проглотила комок в горле. Кивнула.

«Готова.»

«Тогда вперед. И помни: даже в самой горькой истории есть капля меда. Найди ее.»

И последний лепреккон, поправив свою черную шляпу, с безрассудной, отчаянной улыбкой шагнул навстречу безмолвным стражам и печали, которая ждала их на мосту.

Глава 7. Шум и тишина моста Толкина

Утро было мертвым. Не тихим, а именно мертвым. Звуки города — гудки, голоса, грохот мусоровозов — не долетали сюда, будто мост существовал в звуковом вакууме. Воздух стоял неподвижный, тяжелый, как свинцовая пелена. Пять Безликих все так же стояли в своих нишах, обращенные к черноте под аркой. Они не дышали. Они просто были — пробки в сосудах мира.

Лонан остановился у начала моста, снял шляпу, отряхнул несуществующую пыль. Он повернулся к Мэйв и подмигнул. В этом подмигивании не было уверенности. Было безумие. Отчаянная готовность к клоунаде на краю пропасти.

«За мной, детка. И когда я начну, иди прямо к ней. Не оглядывайся.»

Он надел шляпу, глубоко вдохнул и шагнул на мост.

Первые же его шаги по камню прозвучали громко, невыносимо громко в этой тишине. Топ-топ-топ. Будто он стучал молотком по наковальне. Все пять «голов» Безликих повернулись к нему с едва уловимым, скрипучим звуком.

Лонан остановился посередине, расставил ноги, упер руки в боки. И запел.

Голос у него был не певческим — скрипучим, ломаным, но невероятно громким. Он запел похабную, нелепую уличную балладу про горшок, который сбежал от хозяйки и женился на метле. Он пел на том самом древнем языке, но энергия, пьяная и дикая, прорывалась сквозь слова.

И началось.

Из его карманов посыпались не то монетки, не то сухие горошины. Они, звеня, покатились по мосту, и каждая, ударяясь о камень, издавала не звон, а крошечный взрыв хохота. Мост наполнился эхом детского смеха.

Тени от фонарей зашевелились, оторвались от земли и поплыли по воздуху, принимая карикатурные формы — толстых котов, пляшущих свиней, носов с ногами. Лонан пустился в пляс. Его джига была не изящной, а ухарской, топочущей, полной притопов и прихлопов. Каждый его удар каблуком по камню высекал не искру, а вспышку золотистого света, короткую и яркую, как вспышка магния.

Безликие замерли. Их размытые лица колебались, будто не понимая, как обработать этот шумовой вирус, эту атаку абсурда. Они начали медленно, неуклюже поворачиваться к нему всем телом. От них потянулись щупальца Серости, тонкие, как паутина, пытаясь поймать его, заглушить. Но Лонан был неуловим. Он вертелся, кувыркался (невероятно проворно для своего возраста), отскакивал от щупалец, и там, где они касались камня, оставался не пепел, а... яркая, дурацкая каракуля, нарисованная светом.

ШУМ. Он создавал чистый, неконтролируемый ШУМ в самом сердце тишины.

Мэйв, затаив дыхание, проскользнула вдоль перил, прижимаясь к холодному камню. Ее сердце колотилось в такт его притопам. Она видела, как Безликие, как гипнотизированные, потянулись к источнику помех, оставляя путь к арке свободным.

И там, в самом центре моста, у самого края, где камень был темным от вечной сырости, стояла Она. Плакальщица. Ближе Мэйв разглядела детали: платье не просто мокрое, оно было выкроено из моды столетней давности. Руки, бледные как воск, были сложены на груди. А из-под темных прядей волос не было видно лица, только ощущение взгляда, направленного вниз, в черноту, где когда-то текла река.

Мэйв подошла, сжав в потной ладони теплый камень. Шум позади — дикий хор Лонана, смех, топот — казался далеким, приглушенным, будто ее обволакивал кокон тишины.

«Я... я принесла тебе это, — прошептала Мэйв, протягивая камень. Голос ее сорвался. — Это чтобы помнить.»

Бледная рука медленно поднялась. Пальцы, холодные как речная галька в ноябре, коснулись ее ладони, взяли камень. Прикосновение было ледяющим, но не враждебным. Просто... бесконечно уставшим.

И тогда в Мэйв хлынуло.

Не видение. Не слова. Чувство. Всепоглощающая, удушающая тоска, от которой перехватило дыхание.

Обрывки: парходный гудок. Запах угля и соли. Его руки, сжимающие ее плечи. «Я вернусь, Мойрин. Клянусь жизнью. Держись. Просто держись.» Ее собственный голос, сорванный: «Пиши. Каждую неделю. Обещай.» Его последняя улыбка, кривая, мужественная. И затем... пустота. Письма, которые приходили все реже. Потом слухи. Потом официальная бумага: «пропал без вести». Ни тела. Ни могилы. Ни конца. Только эта дыра в сердце и река под окном, в которой отражалось все то же пустое небо, год за годом.

Это была не просто история. Это была открытая рана времени. Женщина по имени Мойрин так и не смогла оплакать, потому что не было certainty. Не было точки. Ее горе зависло здесь, на мосту их последней встречи, смешалось с горем тысяч других и стало чистым явлением — Печалью, которая кормила насос забвения.

Камень в руке призрака вдруг засветился слабым, теплым светом. Светом воспоминания Мэйв о бабушке. О завершенной любви, у которой было начало, середина и прощальный поцелуй на холодном лбу.

И в этот момент Мэйв увидела. Не глазами призрака. Своим внутренним зрением, тем самым, что видела Лонана. Она увидела его. Солдата. Не в момент расставания. Позже. Далеко. В грязном окопе, под дождем из снарядов. Он не погиб героем. Он просто... устал. Заснул на посту от изнеможения. И один осколок, слепой и случайный, нашел его. Быстро. Почти безболезненно. Его последней мыслью была не родина, не долг. Это была она. Ее лицо в утреннем свете на мосту. И чувство острого, горького сожаления, что он не сдержал самое главное обещание — вернуться.

Он не стал героем. Он стал статистикой. И, может, поэтому его душа не застряла. Она просто... ушла. Усталая.

Мэйв открыла глаза. Она плакала. Слезы были горячими на ее холодных щеках. Она смотрела на сторбленную фигуру Плакальщицы.

«Он не забыл тебя, — выдохнула Мэйв, и ее голос прозвучал громко в ее коконе тишины. — Последним, что он видел, было твое лицо. Он хотел вернуться. Просто... не смог. Он устал. И ему было жаль. Так жаль.»

Плакальщица вздрогнула. Ее плечи затряслись. Из-под занавеса волос послышался звук — не рыдание, а глубокий, надломленный вздох. Как будто что-то, зажатое сто лет, наконец вырвалось.

Она разжала пальцы. Камень, все еще светящийся теплым светом, упал. Но не на мост. Он провалился сквозь камень, туда, в черноту, как будто его приняла сама земля.

И тогда каменная кладка под знаком-насосом треснула. Тихий, сухой звук, но он перекрыл весь шум Лонана. Трещина пробежала по кругу с лучами, и из нее хлынул не темный, а серебристый свет. Свет не магии, а... слез. Настоящих, оплаканных, прощенных слез.

Безликие замерли в неестественных позах. Их связь с местом дрогнула. Щупальца Серости попятнулись от серебристого света, как от огня.

Плакальщица подняла голову. Впервые. Мэйв увидела лицо — молодое, изможденное, прекрасное в своем горе. И на этом лице не было больше безликой печали. Было осознание. Больное, горькое, но — окончательное.

Ее губы шевельнулись. «Спасибо,» — прошептали они беззвучно.

А потом она начала таять. Не исчезать, а становиться прозрачной, как утренний туман над рекой. И с ней таяла та тяжелая, мертвая тишина. Вернулись звуки города. Закаркала ворона. Где-то далеко просигналила машина.

Насос был сломан. Не уничтожен, но перепрофилирован. Он больше не выкачивал память. Он... очищал ее. Выплакивал.

Лонан, весь в поту, с разорванным рукавом куртки, остановил свою безумную джигу. Он тяжело дышал, но глаза его горели. Он смотрел, как Безликие, потеряв опору, медленно, как рассеивающийся дым, растворялись в воздухе.

Он подошел к Мэйв, которая все еще стояла, глядя на то место, где была Плакальщица.

«Что ты ей сказала?» — спросил он тихо.

«Правду, — ответила Мэйв, вытирая щеку. — Что он ее любил. И что ему было жаль. И что он устал.»

Лонан кивнул. Он посмотрел на трещину, из которой все еще сочился мягкий серебристый свет.

«Иногда это все, что нужно. Не героическая смерть, а просто... человеческая. Чтобы история обрела конец.»

Он положил руку ей на плечо. «Ты сделала это. Не я со своим шумом. Ты. Своей тишиной и правдой.»

Они стояли так, слушая, как жизнь возвращается на мост. Холод еще был, но он был просто холодом ноября, а не вымороженной душой.

«Что теперь?» — спросила Мэйв.

«Теперь, — сказал Лонан, глядя на восток, где над крышами высились стеклянные башни нового комплекса, — мы идем туда, куда все текло. Туда, где пытаются похоронить холм фейри под бетоном. Нам нужно найти того, кто вкрутил последний винтик в эту машину. И вырвать его.»

Он поправил шляпу. На его лице не было усталости. Была ясная, холодная решимость.

«Потому что битва за мост — это было только начало войны.»

Глава 8. Цена памяти и холм под стеклом

Возвращение было похоже на выход из глубокой воды. Звуки города — громкие, резкие, лишенные магии — обрушились на них. Мэйв шла, автоматически переставляя ноги, ее разум все еще был там, на мосту, с серебристым светом и вздохом столетней тоски. В руке она все еще сжимала пустоту, где был камень.

Лонан шел рядом, но его шаг был тяжелее. Он не просто устал. Он казался... менее плотным. Временами, когда они проходили под вывеской неона, Мэйв ловила себя на мысли, что видит сквозь него контуры кирпичной стены. Он замечал ее взгляд и отворачивался.

«Не зацикливайся, детка. Просто побочный эффект. Как похмелье после хорошей пьянки. Только пьянка была со слезами призраков.»

Но в его шутке не было силы.

Дома их ждало чудо.

Эйлин сидела на кухне. Не в своей комнате, а за общим столом. Перед ней стояла тарелка с недоеденными хлопьями. И она... улыбалась. Слабой, робкой улыбкой, как человек, только что проснувшийся после долгой болезни, но она была там. Ее глаза, когда она увидела сестру, не были пустыми. Они искали, узнавали.

«Мэйв, — прошептала она. — Я видела сон. Про пастуха. Он нашел своих овец. Они были из света.»

Мэйв бросилась к ней, обняла так крепко, что аж хрустнуло. Эйлин слабо обняла ее в ответ. Она была теплой. Настоящей.

«Спасибо, — сказала Мэйв, глядя на Лонана через плечо сестры.**

Он стоял в дверном проеме, прислонившись к косяку. На его морщинистом лице играла сложная гримаса — облегчение, грусть и что-то еще. Гордость? Нет. Принятие.

«Не благодари. Еще рано. Это только передышка. Кормак обрел покой, а его Тень рассеялась. Но источник... источник остался. И он зол.»

Он подошел к столу, снял шляпу. На мгновение комната показалась тусклее. Он развернул карту. Точка на мосту теперь светилась не серым, а тем самым мягким серебристым светом. Но линии, ведущие от нее, все еще были черными, как некроз. И они все сходились в одной точке на востоке. Там, где раньше был обозначен холм с крошечными танцующими фигурками, теперь был нарисован угловатый символ — башня или кран.

«Холм фейри. Самое древнее «тонкое» место в городе. Врата. Теперь — стройплощадка «Дублин-Арк», — его голос стал ледяным. — Они не просто строят на костях. Они вбивают стальные сваи прямо в сердце. И используют выкачанную с других точек Серость, чтобы... зацементировать врата. Навсегда.»

«Зачем?» — спросила Мэйв, отпуская сестру. — «Кому это нужно?»

«Забвение — это бизнес, детка. На чистой, пустой земле, с которой стерта вся память и магия, не будет призраков, требующих правды. Не будет лепреконов, ворующих носки. Не будет неудачных любовных историй, которые мешают продавать квартиры с видом. Будет только... тихий, стабильный, прибыльный фон. Идеальный мир для тех, кто боится всего неконтролируемого. Для тех, кто хочет забыть, что у мира есть душа.»

Он ткнул пальцем в символ башни. «Здесь будет эпицентр. Здесь сидит Инженер. Тот, кто читает чертежи Серости. Человек или не-человек, который решил, что лучший способ навести порядок — это опустошить мир.»

«И мы можем его остановить?»

Лонан посмотрел на свои полупрозрачные руки. «Я... не уверен, что смогу приблизиться. Моя сила — это та самая «грязь», которую они вычищают. Я буду как сигнальная ракета для всего их механизма. Они сконцентрируются на мне и сотрут.» Он посмотрел на Мэйв. «Но ты... ты человек. Ты прошла через две точки и не сломалась. Ты для них — аномалия, сбой, но не угроза. Они могут не заметить тебя, пока не будет слишком поздно.»

«Что я должна сделать?»

«Дойти до сердца. До того самого места, куда вбита свая. И... рассказать историю.»

«Какую?»

«Историю этого места. Самую старую. Ту, что помню я. И ту, что может помнить земля.» Он достал из внутреннего кармана куртки маленький, потертый бардовый свисток — не рогозный, а из черного дерева. «Это — «Голос Холма». На нем можно сыграть только одну мелодию. Ту, под которую танцевали феиры в полнолуние. Если ты сыграешь ее в самом центре... она разбудит спящую память земли. Она взорвет их насос изнутри. Но, — он замаялся, — для этого нужно, чтобы кто-то отвлек «Инженера» и его стражу. Слепил их.»

«Я отвлеку, — сказала Эйлин тихим, но четким голосом. Они оба обернулись. Девочка смотрела на них своими огромными, теперь ясными глазами. — Я... я помню тени. Я знаю, как они шепчут. Я могу... могу показать им себя. Я буду яркой. Как та овца из сна.»

«Нет!» — почти крикнула Мэйв. — «Ты только что очнулась!»

«И я хочу помочь, — настаивала Эйлин. — Он спас меня. Я должна.»

Лонан смотрел на девочку долгим, пронизательным взглядом. Потом медленно кивнул. «В ней есть искра. Искра света, который прошел через тьму. Это... может сработать. Но только как сигнал. Миг. Потом ты бежишь. Поняла?»

Эйлин кивнула, ее лицо стало серьезным, почти взрослым.

«А ты?» — спросила Мэйв у Лонана, боясь услышать ответ.

Он улыбнулся своей старой, лукавой ухмылкой. Но сейчас в ней была бесконечная нежность.

«Я сделаю то, для чего рожден последний лепрекон. Я устрою такое представление, которое они никогда не забудут. Вернее... постараюсь, чтобы они его запомнили. Даже если для этого мне придется стать... самой историей.»

Он встал, и в этот момент солнечный луч пробился сквозь облако и упал на него. Он стал почти полностью прозрачным, сияющим контуром из пылинок в свете. Мэйв задохнулась.

«Лонан!»

«Тихо, — сказал он, и его голос звучал уже как далекий ветер. — Это и есть цена. Моя сила — это память. Каждый раз, когда я ее использую, я трачу себя. А восполнить ее нечем. Мир забывает. Но это... это правильно. Последняя шутка должна быть громкой.»

Он стал плотнее, собрав всю волю, но они все видели — обратного пути нет.

«Слушай, — он положил деревянный свисток в руку Мэйв. — Играй только тогда, когда увидишь серебристый свет в земле. Это будет означать, что я... открою дверь. Ненадолго. И помни: не важно, что будет со мной. Важно, чтобы мелодия прозвучала. Чтобы земля проснулась и вытолкнула сталь. Обещай.»

Мэйв, со слезами на глазах, кивнула. Она не могла вымолвить слова.
«Обещаю.»

«Хорошая девочка. — Он потрепал ее по волосам, и его рука была почти невесомой. — А теперь отдыхайте. Завтра на закате. Холм фейри. Мы подарим этому городу... последнее воспоминание.»

Он надел шляпу, кивнул Эйлин, и вышел, растворившись в солнечном свете за окном не как существо, а как мираж, как эхо.

Мэйв и Эйлин сидели за столом, держась за руки. На столе лежала карта с серебристой точкой на мосту и черной, пульсирующей раной на востоке. И маленький черный свисток, который весил в ладони Мэйв как целый мир.

Они знали — завтра все закончится.
Так или иначе.

Глава 9. Последняя мелодия холма

Закат был не золотым, а медным — тяжелым, ядовитым, будто небо проржавело. Они стояли у забора стройплощадки «Дублин-Арк». Не просто забора — трехметрового глухого щита из профлиста, увенчанного колючей проволокой. На табличке «Посторонним вход воспрещен» кто-то нарисовал баллончиком глаз с трещиной.

Внутри не было привычного гула техники. Царила мертвая тишина. Та самая. Но здесь она была не пассивной, а агрессивной. Она давила на барабанные перепонки, выжимала звук из мира.

Лонан выглядел призраком. Его контуры плясали, дрожали. Он был собран из теней и воспоминаний, удерживаемых лишь невероятным усилием воли. Но глаза горели яростным, последним огнем.

«План прост, как три листика клевера, — прошептал он, и его голос был похож на шелест сухих листьев. — Я войду первым. Сделаю... вступление. Когда начнется суматоха, вы пролезайте там, где порвана сетка. Эйлин, ты идешь к штабному вагону. Он будет излучать холод. Встань перед ним и... вспомни самый смешной мультфильм. Самый яркий. Закричи, засмейся, запой. Ты будешь маяком. Их механизм попытается тебя заглушить. Это отвлечет их.»

Эйлин кивнула, сжимая в руке маленькое зеркальце — «чтобы отразить свою улыбку», как она сказала. Ее лицо было бледным, но решительным.

«Мэйв, твой путь — туда. — Лонан указал на сердце стройки, где высился каркас будущей башни. Вокруг него земля была черной, выжженной, без единой травинки. А в самом центре, на месте, где должна была быть лифтовая шахта, зияла дыра. Не котлован. Дыра, из которой лился не свет, а отсутствие цвета. — Там свая. Иглой в сердце. Когда увидишь серебристую вспышку... играй. Не думая. Просто отдай мелодии все.»

Мэйв сжала в кармане деревянный свисток. Он был холодным, как лед.

«А ты? Что будешь делать ты?» — ее голос дрогнул.

Лонан обернулся к ней. В его полупрозрачных чертах мелькнула та самая старая, озорная ухмылка.

«Я, детка, сыграю свою лучшую роль. Роль воспоминания, которое отказывается умирать.»

Он не стал пролезать под забором. Он просто шагнул сквозь него. Не как призрак, а как проекция, которая на миг стала ярче реальности. Профлист задрожал, и на нем, в месте его прохождения, проступил гигантский, светящийся золотом отпечаток — силуэт лепрекона в шляпе.

И внутри начался ад.
Но не ад огня. Ад шума.

Лонан вскинул руки. И из его распахнутых ладоней хлынул не свет, а какофония. Звон разбитого стекла смешался со смехом детей, скрипом колес телеги, мяуканьем кота, обрывками старых радио-передач, свистом ветра в дымоходе — всем звуковым мусором столетий, который хранила память города. Это был не гармоничный гимн, а вопль. Вопль жизни во всей ее неуклюжей, громкой, прекрасной неупорядоченности.

Стройплощадка вздрогнула. Из-за штабных вагончиков, из теней фундамента поднялись они. Не пять. Не десять. Десятки Безликих. Их размытые формы затрепетали, поплыли к источнику помех. Но было и кое-что еще. Механизмы. Не экскаваторы. Странные, бесшумные агрегаты на гусеницах, с щупальцами-шлангами, которые жадно повернулись в сторону Лонана, чтобы высосать этот шум.

«Сейчас!» — крикнула Мэйв, и они с Эйлин пролезли под рваной сеткой.

Девочка, как серна, помчалась к освещенному вагону. Мэйв побежала в другую сторону, к черной дыре, пригнувшись, ныряя между штабелями плит, которые пахли не бетоном, а... пылью пустых библиотек.

Лонан стоял в эпицентре бури звуков. Безликие набрасывались на него, но их щупальца проходили сквозь него, вырывая клочья сияющего тумана. С каждым клочком он становился прозрачнее, но звук — громче. Он превращал себя в чистую акустическую волну. В протест.

И тут из двери главного вагона вышел Он. Инженер.

Это был человек в белом защитном костюме, но без шлема. Лицо его было обычным, скучным, как чертеж. Но глаза... глаза были как два кусочка сухого льда. В них не было злобы. Была процедура. В руках он держал не планшет, а странный жезл из матового металла, на конце которого пульсировала черная, втягивающая свет сфера.

Он поднял жезл, нацелив на Лонана. И весь производимый лепреконом шум стал закручиваться по спирали, втягиваясь в ту сферу, как вода в слив. Лонан застонал. Его форма истончилась до нити.

В этот момент у штабного вагона зазвенел смех. Высокий, чистый, детский смех Эйлин. Она прыгала на месте, кричала бессмысленные скороговорки, хлопала в ладоши. Она была крошечным, яростным источником живой, неконтролируемой радости в этом стерильном аду.

Инженер на мгновение отвел взгляд. Его бесстрастное лицо дрогнуло, на лбу появилась морщинка раздражения. Часть Безликих развернулась к девочке.

Это был шанс. Последний.

Лонан, висящий в воздухе уже почти невидимым призраком, собрал остатки себя. Он не стал кричать. Он прошептал. Одно слово на языке, древнее камней.

Слово, которое означало «Помни».

И он вспыхнул.

Не взрывом. Он стал серебристым солнцем. Слепящей, мимолетной вспышкой чистой памяти. Не своей — памяти всего города, всех слез и смехов, которые он впитал за века. На миг вся стройплощадка, вся эта черная пустошь осветилась, отбрасывая не тени, а отражения

прошлого: тут мелькнул силуэт танцующих фейри, там — стадо овец, здесь — влюбленные на холме.

Свет ударил в жезл Инженера. Черная сфера на миг захлебнулась, переполненная. Металл жезла покрылся паутиной трещин.

И в центре черной дыры, у подножия стальной сваи, брызнул серебристый родник. Свет Лонана достиг сердца холма.

СЕЙЧАС!

Мэйв, ослепленная слезами, выхватила свисток. Она не думала. Она поднесла его к губам и дунула.

Звука не было.

Вместо звука из свистка хлынула... река. Не вода. Река образов, запахов, ощущений. Теплота летней земли под босыми ногами. Запах полыни и дикого чеснока. Шепот звезд на языке, которого никто не знает. И мелодия... мелодия, которая была не последовательностью нот, а самой жизнью холма. Его дыханием, биением сердца, сновидениями.

Мелодия ударила в стальную сваю. И металл... вздохнул. Застонал, как живой. Потом по нему, снизу вверх, побежала зеленая ржавчина — нет, не ржавчина. Это был мох. Папоротники. Плющ. Жизнь, дремавшая в камнях тысячи лет, проснулась и пошла в атаку.

Земля вокруг дыры затряслась. Из трещин полезли корни, толстые, как руки, обвивая сваю, сжимая ее. Бетонные плиты лопались, и из-под них била трава. Не зеленая, а всех цветов радуги.

Инженер закричал. Впервые. Крик был не человеческим, а механическим, поломанным. Его жезл разлетелся в осколки, и черная сфера, оставшись без контроля, начала бешено вращаться, всасывая в себя... его самого. Его белый костюм, его тело, его ледяные глаза — все смялось и было поглощено порталом в ничто, который он же и создавал. С коротким, хлопаящим звуком он исчез.

Безликие замерли на месте и начали рассыпаться, как статуи из соли под дождем.

Мелодия кончилась. Свисток в руке Мэйв рассыпался в прах.

Она стояла, глядя, как холм оживает. Как сквозь трещины в асфальте пробиваются цветы. Как черная дыра зарастает барвинком и наполняется чистой, ключевой водой.

Тишина ушла. Ее вытеснил гул — гул насекомых, шелест листьев, далекий, настоящий гул города.

Все было кончено.

Мэйв обернулась. Эйлин, плача и смеясь, бежала к ней. Они обнялись.

А потом Мэйв посмотрела туда, где вспыхнуло серебристое солнце.

Ничего не было. Ни вспышки, ни тумана. Только на одном из бетонных блоков лежала маленькая, черная шляпа. Немного пыльная, но целая.

Мэйв подошла, подняла ее. В ней не было карты. Не было магии. Была только память о лукавой ухмылке и добрых, усталых глазах.

Она прижала шляпу к груди и заплакала. Но это были не слезы безысходности. Это были слезы благодарности и горькой победы.

Холм фейри был спасен. Магия вернулась в землю. Но тот, кто вернул ее, ушел навсегда, став последней, самой яркой легендой в своей коллекции.

Над ними, сквозь медную ржавчину заката, пробилась первая, чистящая звезда.

А где-то в новорожденной траве, слабо, как эхо, засветился крошечный огонёк — возможно, светлячок. А может, первый росток новой, еще неведомой магии.

Танатос Рождение из Раны

«Не бойся темноты. Бойся того, кто наводит в ней порядок.

У каждого страха есть имя. У каждой тени — история. Я лишь собираю их. Не для того, чтобы помнили. Для того, чтобы не забыл я.»

Глава 1. Недобрый час

Правило №1 Леса Танатоса: Не оставайся после Недоброго часа. Он наступает, когда тени деревьев становятся длиннее самих деревьев.

Лёха об этом правиле, конечно, не знал. Он знал, что корзинка полна белых и подосиновиков, что телефон сел, а солнце уже не бьёт в макушку, а косо режет сквозь сосны, рисуя на земле длинные, искажённые силуэты. Именно тогда он и понял, что заблудился.

Сначала он звал товарищей — только эхо отозвалось с противной, насмешливой интонацией. Потом пытался вспомнить приметы — все деревья стали на одно лицо, покрытые мхом с севера, запада и чёрт знает ещё откуда. А потом пришёл звук.

Не крик, не вой. Шёпот. Неразборчивый, ползучий, будто корни под землёй перетирали друг друга, пересказывая старые кошмары. От него кровь стыла в жилах, а по спине бежали не мурашки, а целые ледяные муравейники.

Лёха побежал. Куда глаза глядят. Корзинка вырвалась из рук, грибы разлетелись по папоротникам — белые шляпки в полутьме смотрели на него, как выпученные глаза. Он споткнулся о невидимый корень и грохнулся лицом во влажный мох. В нос ударил запах тлена, сырости и чего-то медного, словно кровь.

Когда он поднял голову, то увидел её.

Между двумя чёрными елями, в полосе уже почти ночного света, стояла девочка. Лет семи. В платице, когда-то белом, а теперь в комьях грязи и хвои. Лицо бледное, восковое. Она смотрела на него пустыми глазницами, а во рту у неё было полно земли.

— Уходи, — прошелестели её синие губы, и комок влажной земли упал ей на грудь. — Он идёт. Он всё слышит.

Лёха в ужасе отполз назад, налетев спиной на ствол сосны. Девочка не двигалась. Только её пальцы, чёрные от земли, шевелились, будто что-то перебирая невидимые нити.

— Кто? — выдавил он шёпотом.

— Хозяин теней. Коллекционер, — её голос был похож на скрип ржавых качелей. — Он собирает тихие ужасы. А ты сегодня такой громкий. Он уже здесь.

Лёха обернулся.

Там, где секунду назад была только лесная чаща, теперь стоял мрак. Не просто темнота, а плотная, бархатистая субстанция, поглощающая свет. И из этой тьмы, беззвучно ступая по валежнику, вышел Он.

Высокий. Невероятно прямой в своей чёрной, облегающей коже. Шляпа-котелок отбрасывала на его лицо идеально ровную тень, оставляя видимыми только нижнюю часть — тонкие, поджатые губы, на которых играла полуулыбка, и острый подбородок. В руках — трость.

Её набалдашник, какой-то тёмный камень, слабо пульсировал багровым светом, будто дремлющее сердце.

— Мальчик с грибами, — произнесла фигура. Голос был правильным, почти профессорским, но в его глубине сквозила та же скрипучая нота, что и в голосе девочки-призрака. — Ты нарушил тишину. А главное — график. Недобрый час наступил.

Лёха замер. Его разум отказывался складывать картинку: элегантный тролль-денди, говорящий как столичный интеллигент, и полуразложившаяся девочка-призрак в двадцати шагах.

— Я... Я заблудился, — хрипло сказал Лёха.

— О, это очевидно. И в пространстве, и, что куда печальнее, в понимании субординации, — тролль сделал шаг вперёд. Его тень, резкая и чёрная, потянулась к Лёхе, опережая хозяина. Она скользнула по его ногам, и Лёхе показалось, будто ледяные клещи впились в лодыжки. Он не мог пошевелиться. — Меня зовут Танатос. Я поддерживаю здесь... порядок. А ты своим беготней и воплями разбудил пол-архива.

Он кивнул в сторону девочки. Та, словно получив команду, медленно, с хрустом суставов, повернулась и растворилась между деревьями, оставив после себя лишь запах свежескопанной земли.

— Архива? — прошептал Лёха.

— Коллекция. Истории. Они здесь спят, — Танатос приблизился. Теперь Лёха разглядел очки с круглыми, абсолютно чёрными стёклами. В них отражалось его собственное, искажённое страхом лицо. — Ты носишь с собой интересный экземпляр. Новенький. Пахнет свежим страхом. Покажи.

— Я... ничего не брал!

— Врёшь, — мягко сказал Танатос. Он приподнял трость и легонько коснулся набалдашником груди Лёхи. Тот вскрикнул — в точке касания вспыхнула ледяная боль. Из-за пазухи, куда он засунул его утром «на удачу», выкатился маленький предмет.

Это был глаз. Не животного. Стекланный, искусный, с золотой обводкой по iris и крошечным, едва видимым знаком в центре зрачка — тем же знаком, что мерцал на набалдашнике трости.

— Ага, — протянул Танатос с оттенком профессионального интереса. Он наклонился, и его длинные, в перчатках пальцы подобрали глаз. — Курительная трубка графа-некроманта. Пропала сто лет назад. Где нашёл?

— В овраге... у ручья... валялся...

— Он не «валялся». Он ждал, — поправил его Танатос, вращая артефакт перед своими тёмными очками. — Ждал кого-то достаточно глупого, чтобы поднять, и достаточно громкого, чтобы привести меня. Поздравляю. Ты стал катализатором. За это полагается награда.

Лёха почувствовал, как ледяные тиски теней ослабевают. Он мог двигаться.

— Отпустите меня, — взмолился он.

— Я и не держу. Но отпустить... — Танатос покачал головой, и его хвост, собранный серебряной цепочкой, мягко колыхнулся. — После Недоброго часа? В лесу, полном проснувшихся историй? Это было бы непрофессионально. Почти жестоко.

Он повернулся и тростью указал вглубь леса, куда скрылась девочка.

— Моя обитель близко. Там ты переночуешь. А утром... утром мы решим, что делать с твоей вновь обретённой историей. И с тобой.

Он пошёл, не оглядываясь, уверенный, что за ним последуют. Его тень, отделившись от него, обвила Лёху, не причиняя боли, но и не давая свернуть ни на шаг. Это было похоже на арест, совершённый самой тьмой.

Лёха, цепenea от ужаса и странного оцепенения, зашагал следом. Он смотрел на прямую спину тролля в шляпе-котелке, на идеальный срез его куртки, и думал только об одном: оставшееся правило. Правило №2, о котором прошептала девочка, прежде чем исчезнуть:

«Никогда не смотри, что коллекционер записывает в свой дневник. Потому что он записывает не чернилами. А тенью того, кто смотрит».

А в кармане у Танатоса, рядом со стеклянным глазом, лежал маленький, окованный железом блокнот. И перо с наконечником из того же тёмного камня.

Глава 2. Дорога Архивариуса

Они шли не по тропе. Троп здесь не было. Танатос двигался между деревьями с невозмутимой уверенностью змеи, скользящей по своим владениям. Его тень, пульсирующая странной жизнью, плыла за Лёхой, мягко подталкивая его в спину, если тот замедлялся. Касание было холодным и влажным, как прикосновение мокрой шкуры.

Лес вокруг менялся. Воздух густел, наполняясь запахом старой бумаги, сухих трав и того самого медного, кровавого душка. Сосны сменились древними, кривыми дубами, чьи ветви сплетались в готические арки. На их коре Лёха начал различать те же руны, что видел на лице Танатоса — они светились тусклым синим, словно фосфор, реагируя на приближение хозяина.

— Не бойся, они просто... отмечают путь, — не оборачиваясь, сказал Танатос. Его голос резал тишину, как нож масло. — Каждое дерево здесь — том в моём каталоге. Вот этот, — он слегка тронул тростью один особенно испещрённый знаками ствол, — хранит историю о зеркале, в котором перестало отражаться небо. Только лица умерших.

Из дупла дерева донёсся тихий, скребущий звук, будто кто-то гладил стекло изнутри.

Лёха сглотнул комок в горле. Его разум цеплялся за абсурд: этот... тролль говорил о кошмарах как о редких марках.

— Зачем вам это всё? — сорвалось у него, прежде чем он успел подумать.

Танатос остановился и медленно обернулся. Чёрные очки были направлены прямо на Лёху. В их глубине что-то шевельнулось.

— «Зачем?» — повторил он, растягивая слово. — Отличный вопрос. Представь, мальчик, что страх, боль, отчаяние — это энергия. Чистейшая, незамутнённая. Она, как вино, со временем не портится, а лишь набирает крепость. Я... сомелье. Я нахожу бутылки с самым выдержанным содержимым, каталогизирую и... снимаю пробу. Это поддерживает порядок. И меня.

Он снова тронулся в путь, и Лёхе пришлось бежать за ним почти бегом.

— А что... что происходит с теми, чья история у вас? С девочкой?

— О, с Катенькой? — голос Танатоса стал почти нежным. — Её история проста и поучительна. Не слушалась няню, убежала в лес искать фей. Нашла что-то другое. Теперь её история служит предупреждением для других Катеньок. Она часть экосистемы.

Впереди показалась поляна. Но это была не поляна света. Это была поляна тишины. Трава здесь была серая и примкнувшая к земле, будто её придавили невидимым прессом. В центре, на коряге, сидел ворон. Он не каркал. Он просто смотрел на них пустыми глазницами, в которых горели крошечные синие огоньки — точь-в-точь как руны на деревьях.

— Архивариус, — почтительно кивнул Танатос птице. — Всё в порядке?

Ворон медленно склонил голову. Из его раскрытого клюва полился не звук, а голос. Женский, полный бездонной тоски:

— В третьем ряду, седьмой фолиант... скучает... хочет новую обложку... из теплой кожи...

Лёху затошнило. Это был голос его первой учительницы, которая умерла год назад.

Танатос вздохнул, как усталый библиотекарь.

— Опять он. Вечно недоволен. Спасибо, Архивариус, разберёмся.

Он прошёл мимо птицы, и Лёха, зажмурившись, последовал за ним. Голос умолк.

Наконец, они вышли к Дому. Вернее, к тому, что ему служило.

Это был не дом, а огромный, полуразрушенный пень древнейшего дуба, вросший в холм. Его диаметр был с небольшой коттедж. В боку исполина зиял арочный вход, обрамленный причудливо переплетёнными корнями, напоминавшими змеиные тела. Над входом висела вывеска из потёртого латунного листа. На ней было выгравировано:

ХРАНИЛИЩЕ УСЛЫШАННЫХ ШЁПОТОВ

Танатос, смотритель.

Из глубины дупла струился тёплый, обманчиво уютный свет масляной лампы и пахло чаем с польнью.

— Добро пожаловать в мою скромную келью, — произнёс Танатос, снимая шляпу и вешая её на торчащий сучок. На его лбу, там, где раньше была скрыта полями, Лёха увидел сложный рунический знак, врезанный прямо в кожу. Он мерцал, как шрам от старого ожога. — Проходи. Осторожней с порогом. Он не любит, когда через него переступают с нечистыми намерениями.

Лёха замер на пороге. Дерево под его ногами было тёплым, почти живым.

— А... а если намерения нечисты?

Танатос улыбнулся, встав уже внутри, у стола. Без шляпы и в свете лампы он казался менее грозным и более... реальным. И от этого только страшнее.

— Тогда порог прорастает корнями и превращает голень в удобрение для фиалок на подоконнике. Не волнуйся, твои намерения просты: страх и желание выжить. Это честно. Проходи.

Лёха, затаив дыхание, переступил порог. Дерево лишь тихо вздохнуло под его ступнёй.

Внутри было не то, чего он ожидал. Это не была пещера дикаря. Это был кабинет учёного-алхимика, сошедший со страниц готического романа. Стены, представлявшие собой внутренность дупла, были уставлены полками от пола до потолка. Но на полках стояли не книги. Там были:

Запечатанные чёрным воском склянки, в которых клубился туман.

Куклы с нашитыми вместо глаз пуговицами, чьи головы медленно поворачивались, следя за Лёхой.

Старые детские ботинки, аккуратно зашнурованные.

Зеркала, завешенные чёрным бархатом.

И десятки, сотни блокнотов и свитков, подобных тому, что торчал из кармана Танатоса.

В центре стоял массивный стол, заваленный пергаментами, ретортами с цветными жидкостями и... обычной чайной парой. Танатос уже наливал чай из потёршего медного чайника.

— Садись, — указал он на стул, противоположный своему. — Чай с полынью и мёдом из моего сада. Успокаивает нервы.

Лёха не двинулся с места. Его взгляд прилип к дальней стене. Там, среди прочих артефактов, в специальной нише, стояла небольшая фарфоровая кукла в грязном платье. Её лицо было точной копией лица той девочки из леса — Катеньки. А в пустых глазницах куклы лежали две горсти влажной, тёмной земли.

— Ты... ты её...

— Заархивировал? В удобном для хранения формате, — кивнул Танатос, отхлебнув чаю. — Её физическая оболочка давно истлела в лесу. Но суть — страх потерять, тьма между деревьями, холодок по спине — она здесь. В целости и сохранности.

Он поставил чашку и вынул из кармана блокнот и тот самый стеклянный глаз.

— А теперь, — его голос потерял налёт усталой вежливости и стал острым, деловым, — о твоём вкладе. И о тебе. Ты — носитель. Глаз выбрал тебя. Значит, в тебе есть что-то... подходящее. Трещинка. Пустота, которую можно заполнить.

Он открыл блокнот. Страницы были не бумажными, а из тончайшей, похожей на кожу, ткани. Они были абсолютно чистыми.

— Что ты собираешься делать? — спросил Лёха, и его голос дрогнул.

— То, для чего я создан, — сказал Танатос. Он взял перо с каменным наконечником и поднёс его к лампе. Камень начал впитывать свет, становясь тускло-багровым. — Я запишу историю этого глаза. А для этого мне понадобится... первоисточник. Твой страх в момент находки. Твоё первое впечатление. Твоя тень.

Он поднял перо. Тень от Лёхи, отброшенная на стену светом лампы, вдруг дёрнулась и потянулась к острию пера, как железные опилки к магниту.

Правило №2: Никогда не смотри, что коллекционер записывает в свой дневник.

Но Лёха не мог отвести глаз. Он смотрел, как перо Танатоса касается первой страницы, и из его собственной, вытянутой в струну тени, начинает сочиться чёрное, густое вещество. Оно

текло по воздуху прямо к перу и ложилось на страницу иероглифами холодного, негасимого ужаса.

А в это время стеклянный глаз на столе медленно, с тихим щелчком, повернул зрачок и уставился прямо на Лёху.

Глава 3. Чернила из тени

В тот миг, когда перо коснулось страницы, Лёху пронзила не боль. Пустота.

Он почувствовал, как что-то важное, невидимое и тёплое, вытягивается из него через пуповину тени. Это было не воспоминание, а скорее... отпечаток чувства. Дикий, животный ужас от прикосновения к холодному стеклу в тёмном овраге. Чувство, что за ним наблюдают. Убеждённость, что этот глаз — чей-то.

И всё это теперь стекало по острию пера, оседая на странице блокнота мерцающими чернилами цвета ночной бездны. Знаки, которые выводил Танатос, были незнакомыми, угловатыми, но Лёха, к своему ужасу, понимал их. Он читал свою собственную панику, застывшую в символах.

«...холод стекла, как лёд на сердце... в овраге пахнет мокрым железом и старыми костями... он смотрит, он видит, он знает, что я возьму его...»

Танатос писал, и его лицо было бесстрастной маской учёного, поглощённого экспериментом. Но в уголках его губ играла едва уловимая гримаса... наслаждения. Как у гурмана, смакующего первый глоток редкого вина.

Лёха не мог пошевелиться. Его тень, пригвождённая к стене, истончалась, бледнела, становясь прозрачной. Вместе с ней таяли силы. В ушах зазвенело.

Вдруг глаз на столе подпрыгнул. Невысоко, с сухим стеклянным стуком. Его зрачок, с крошечным знаком внутри, сузился, будто вглядываясь в процесс. А потом из него, тихо, словно пар изо рта на морозе, повалил дымок. Серый, невесомый, пахнувший ладаном и пылью склепа.

Дымок потянулся не к Лёхе и не к Танатосу. Он пополз по столу, к кукле Катеньки.

Танатос заметил это краем глаза. Его перо дрогнуло, оставив кляксу.

— Нет, — коротко бросил он, не отрываясь от записи. — Не сейчас. В очереди.

Но дымок был настойчив. Он обвил фарфоровые пальцы куклы, затекла в глазницы, наполненные землёй. Земля в глазницах зашевелилась.

В тот же миг Лёха, чья тень была почти вся выпита пером, увидел.

Он увидел не комнату. Он увидел то, что записывали. Лесной овраг, но не свой, а чей-то чужой, из прошлого. Он увидел человека в длинном, старомодном сюртуке (Граф? Некромант?) с этой самой трубкой во рту. Человек что-то шептал, глядя в воду ручья, а в воде отражалось не его лицо, а что-то с множеством щупалец. А потом человек в ужасе выронил трубку, и стеклянный глаз покотился в грязь... И кадр сменился. Теперь глаз лежал в чьей-то ладони. В маленькой, детской ладони. В ладони Катеньки. Она смеялась, поднимая «красивую бусинку». А за её спиной, между деревьев, стояла высокая, худая тень в шляпе...

Видение оборвалось, когда Танатос с силой хлопнул блокнотом.

— Довольно! — его голос грохнул, как обвал. Лампа на столе вспыхнула ослепительно, и серая дымка от глаза с шипением рассеялась.

Лёха рухнул на пол, освобождённый. Он был пуст, как выпотрошенная рыба. Его собственная тень медленно, нехотя, стала наполняться, возвращаясь к ногам, но теперь она была бледной и рваной на краях, будто изъеденной молью.

Танатос тяжело дышал. Руна на его лбу пылала яростным синим огнём. Он смотрел на куклу Катеньки. Земля в её глазницах успокоилась, но теперь в ней что-то... блесело. Крошечные осколки стекла? Частички того самого дыма?

— Наглый артефакт, — прошипел Танатос, забирая глаз со стола и засовывая его в железную шкатулку на полке. — Пытается связать истории. Создать перекрёстные ссылки без моего ведома. Это нарушает каталогизацию.

Он обернулся к Лёхе, и его лицо впервые выражало не презрение или холодный интерес, а раздражение мастера, чью работу испортили.

— Ты видишь? Видишь, к чему приводит нарушение процедуры? Твоё невежество чуть не спровоцировало слияние двух нестабильных единиц хранения!

Лёха, сидя на полу, только качал головой. Слова не доходили. Внутри была только ледяная пустота и остаточные образы: щупальца в воде и смеющаяся девочка.

— Кто... кто был тот человек? — выдавил он.

— Не твоё дело. Он — Том 47, «Некромант и Речное отражение». А Катенька — Том 12, «Девочка, которая смотрела в лес». Они не должны общаться, — Танатос снял очки и протёр их платком. Без них его серые глаза были усталыми, древними, и в них плавали те самые тени, которые Лёха ощущал раньше лишь подсознательно. — Глаз пытался использовать тебя как проводник, чтобы дотянуться до неё. Интересно... зачем?

Он пристально посмотрел на Лёху, и тот почувствовал, будто его снова сканируют, только теперь более тщательно.

— В тебе есть... резонанс, — заключил Танатос. — С чем-то в этом лесу. Или с кем-то. Это редкость. И опасность.

Внезапно снаружи, со стороны входа, раздался звук. Не скрежет и не шёпот. Стук. Три чётких, неторопливых удара, как будто кто-то вежливо стучит костяшками пальцев по дереву.

Танатос нахмурился.

— Архивариус? Нет, не его почерк...

Он натянул перчатки, снова надел очки, взял трость. Его облик снова стал безупречным и пугающим.

— Сиди. Не двигайся. Не прикасайся ни к чему, — бросил он через плечо и вышел из дупла в серые сумерки.

Лёха остался один в жутком кабинете. Тишина была гулкой, живой. Он чувствовал, как на него смотрят десятки глаз: кукольных, из-под бархата на зеркалах, из щелей в полках. Его собственная, искалеченная тень колыхалась на стене, будто прося защиты.

А потом он услышал. Сначала едва различимо, потом всё громче. Шёпот. Тот самый, что вёл его по лесу. Но теперь он шёл не извне, а изнутри куклы Катеньки.

Слова были перевернутыми, пьяными от времени, но Лёха, с его новообретённой пустотой и резонансом, понял:

«...глаз... видит путь... в сердце дуба... там спит то, что помнит... освободи... и он освободит... найди корень... чёрный корень...»

Сердце дуба? Чёрный корень?

Лёха посмотрел под ноги. Пол был из тёплых, плотно пригнанных друг к другу деревянных плах. Дубовых плах. Он был внутри самого сердца дерева-хранилища.

Шёпот куклы стал настойчивее, почти истеричным:

«...он заберёт все тени... все истории... и твою тоже... навсегда... станешь буквой в книге... как я... найди корень... пока он у двери...»

За дверью слышались низкие, неразборчивые голоса. Танатос с кем-то разговаривал. У Лёхи были минуты. Возможно, секунды.

Он отполз от центра, к стене. Его ослабевшие руки скользнули по тёплому дереву пола. Где искать чёрный корень? Всё было деревянным и... живым.

И тут его взгляд упал на основание одной из полок, вмурованной прямо в стену дупла. Там, в самом углу, где скапливалась пыль веков, было не просто дерево. Из щели между полом и стеной торчал корень. Но не коричневый, а глубокого, смолянисто-чёрного цвета, будто обугленный. И он был холодным на ощупь, в отличие от всего остального тёплого дерева. Вокруг него воздух мерцал, как над раскалённым асфальтом.

Лёха потянулся к нему. Его пальцы дрожали.

Что будет, если он его тронет? Освободит то, «что помнит»? Или выпустит нечто такое, от чего старый некромант в овраге показался бы доброй сказкой?

Голоса за дверью стихли. Послышались шаги. Танатос возвращался.

Выбор был прост: остаться и стать «буквой в книге», или дотронуться до тайны и, возможно, стать причиной конца всей этой кошмарной библиотеки.

Лёха, сжав зубы, протянул руку к чёрному, ледяному корню.

Глава 4. То, что помнит

Палец Лёхи коснулся чёрного корня.

Не было взрыва, света или рёва. Был вздох. Глубокий, печальный, исходивший не из точки касания, а отовсюду сразу — из стен, пола, потолка, из каждой щели в коре древнего дуба. Воздух выдохнул, и вместе с ним из Лёхи вырвалось последнее остаточное тепло. Он ооченел, не в силах даже отдернуть руку. Палец примёрз к ледяной, смолянистой поверхности.

Пыль на полках зашевелилась, завихрилась, сложившись в спирали, похожие на галактики. Тени в углах комнаты сгустились, стали объёмными, и в них замерцали крошечные звёзды. Время в кабинете Танатоса остановилось, а потом побежало назад.

Вместо стен дупла Лёха увидел ствол молодого, могучего дуба, стоящего на солнечной поляне. Он чувствовал сок, бегущий под корой, тепло солнца на листе, крошечные жизни муравьёв у своих корней. Это было чувство покоя, длящееся столетия. Память дерева.

Затем — резкая, обжигающая боль. Вспышка чёрного огня, пришедшая не сверху, а изпод земли. Огонь, который жёг не древесину, а саму суть, душу места. От него корни почернели и обуглились. Один, самый главный корень, пронзённый этим пламенем, стал ледяным — хранилищем яда. Это была рана. Не дерева, а чего-то большего. Лес застонал.

И в эту рану пришёл Он.

Не Танатос-денди, а нечто иное. Высокое, сгорбленное, с кожей цвета запёкшейся земли и глазами, полными такой тоски, что даже память дерева содрогнулась. Это был тролль, но не властелин, а беженец. Раненый, изгнанный, истекающий собственной тенью. Он искал убежища. Он прижался спиной к обожжённому дубу, обнял его ствол и... начал шептать.

Он шептал не заклинания. Он шептал свою историю. Историю предательства, потери, страха. Он вплетал свою боль, свой ужас в древесные кольца, отдавая дереву кошмары в обмен на приют. Дуб, жаждущий исцелить свою чёрную рану, впитывал этот яд. Тень тролля перетекала в дерево, запечатываясь в почерневшем корне. А сам тролль... менялся. Его дикая, исковерканная скорбью форма стягивалась, принимая более чёткие, почти человеческие черты. Рождался Танатос — не как имя, а как роль. Смотритель. Тот, кто будет кормить дерево-гробницу чужими кошмарами, чтобы его собственный никогда не вырвался наружу.

Видение сменилось. Лёха увидел, как за долгие годы Танатос, теперь уже в шляпе и с тростью, строит вокруг дуба свою коллекцию. Каждая новая история, каждый артефакт — это ещё один гвоздь в крышку склепа, ещё один слой изоляции над тем, что спит в сердце: над его собственным, диким, неутолённым горем, превратившимся в чудовище. Дуб и тролль стали одним — симбиозом боли и контроля.

Лёха понял всё. Хранилище — не просто коллекция. Это тюрьма. А Танатос — и надзиратель, и самый главный узник. Его изящество, его манеры, его каталоги — всё это сложнейшая система сдерживания, чтобы То, что помнит (его прежнее «я», его первородный ужас) никогда не проснулось.

И теперь палец Лёхи, этого «резонирующего» глупца, был ключом, вставленным в замок.

Чёрный корень под его пальцем забился. Лёха наконец оторвал руку, на коже остался белый, обмороженный след. Из щели в полу, откуда торчал корень, с тихим шипением повалил тот самый серый дымок, что исходил от глаза. Но теперь он был гуще, тяжелее, и в нхе, и в нём плясали образы: обрывки всех кошмаров, собранных здесь. Крики, шёпоты, бледные лица. Он потянулся к кукле Катеньки, к склянкам, к зеркалам — связывая их в один клубок.

Дверь распахнулась. На пороге стоял Танатос. За его спиной в серых сумерках виднелась высокая, худая фигура в лохмотьях, с лицом, скрытым под капюшоном — тот, кто стучал. Но сейчас Танатос не обращал на гостя внимания.

Он смотрел на клубящийся дым из-под пола. На бледный, испуганный Лёху. На свою куклу, из глазниц которой теперь тоже валил серый туман.

На лице Танатоса не было гнева. Было нечто худшее: холодный, бездонный ужас.

— Что ты наделал... — его голос был тихим, хриплым, лишённым всякой театральности. В нём звучал тот самый древний тролль из видения. — Ты... разбудил Рану.

Он рванулся вперёд, не как денди, а как дикое животное, забыв о трости, о манерах. Его пальцы, с когтями, прорезавшими кожу перчаток, потянулись к Лёхе, чтобы заткнуть источник вторжения, разорвать его.

Но было поздно.

Серый дым сгустился в центре комнаты. В нём что-то собралось. Очертания были нечёткими, мерцающими — словно пытались сложиться в десятки форм сразу: и в сторбленного тролля, и в смеющуюся девочку, и в человека с трубкой, и в щупальца из воды. Это была амальгама. Первое, примитивное слияние историй, спровоцированное прикосновением к чёрному корню. Сущность, лишённая разума, но полная одного желания — быть услышанной. Вырваться.

Она издала звук. Не крик. Визг ржавых петель всех дверей в мире, смешанный с плачем ребёнка и предсмертным хрипом. Звуковая волна ударила по полкам. Склянки затрещали. Куклы закивали головами в безумном ритме. Зеркала под бархатом звенели, как натянутые струны.

Танатос замер, заслонившись рукой. Его очки треснули. Из-под них по лицу потекли две чёрные, густые струйки — не слёзы, а тень.

— Нет... назад... всё в порядок... — бормотал он, но это были слова зрителя, а сила принадлежала чему-то другому. Руна на его лбу вспыхнула и стала потухать, как уголь на ветру.

Сущность из дыма метнулась не к Танатосу и не к Лёхе. Она рванулась к шкапулке, где лежал стеклянный глаз. Железная коробка взорвалась изнутри. Глаз взлетел в воздух, пойманный серым вихрем. Его зрачок вспыхнул ослепительным багровым светом.

И тут заговорил гость в дверях. Голос был сухим, как шелест опавших листьев, и безразличным.

— Кажется, твой архив требует переучёта, Коллекционер. Процедура нарушена. Целостность коллекции под угрозой.

Танатос обернулся к нему, и в его взгляде вспыхнуло узнавание и новая волна страха.

— Ты... Аудитор? Кто тебя послал? — выдохнул он.

— Жалоба поступила от единицы хранения «Девочка, которая смотрела в лес», — гость сделал шаг вперёд, и свет лампы упал на его руки. Они были длинными, костлявыми, и вместо пальцев — острые, блестящие перья. — Нарушен протокол изоляции. Провожу ревизию. В случае подтверждения хаоса — коллекция подлежит конфискации и очистке.

«Аудитор». Судья извне. Надзиратель над надзирателем.

Теперь в тесном пространстве дупла были:

Лёха — виновник, опустошённый и в ужасе.

Танатос — смотритель, теряющий контроль над тюрьмой и над собой.

Амальгама-сущность — бунтующий сгусток всех кошмаров.

Активированный глаз — катализатор, чьи цели неизвестны.

Аудитор — холодный чиновник от ужаса, пришедший всё ликвидировать.

Глаз, паря в центре серого вихря, медленно повернулся. Он посмотрел на Лёху. Потом на треснувшую руну Танатоса. Потом на чёрный корень. И его багровый свет сосредоточился на Аудиторе.

Из зрачка вырвался тонкий луч того же цвета. Он не причинил вреда. Он прочертил линию в воздухе — между Аудитором и чёрным корнем. Как будто предлагал сделку, связь.

Амальгама завывла, почувствовав новую, чужеродную силу. Она рванулась к Аудитору.

Танатос, видя, что всё рушится, принял решение. Не смотрителя. Узника. Он вскинул руку, и его собственная, жидкая тень оторвалась от пола и ударила не по амальгаме, а по лампе на столе.

Свет погас.

Абсолютная, беспросветная тьма поглотила хранилище. В ней было слышно только:

Хриплое дыхание Танатоса.

Многоголосый вой амальгамы.

Сухой, шелестящий смешок Аудитора.

И тихий, ясный голосок Лёхиного собственного страха в голове: «Теперь ты никогда не выйдешь. Ты стал частью истории. Истории о мальчике, который выпустил тьму».

Глава 5. Суд над теньями

Тьма была не просто отсутствием света. Она была субстанцией. Плотной, вязкой, впитывающей звук и разум. Лёха захлёбывался ею, словно водой. Он не видел, но ощущал — как по его коже ползают обрывки чужих воспоминаний: холод земли в детском гробу, острота невысказанной обиды, липкий ужас перед тем, что прячется под кроватью.

И сквозь этот шум пробивались чёткие, ясные голоса — игроки, не нуждающиеся в глазах.

Голос Аудитора (сухой, методичный):

— Нарушение протокола каталогизации. Самоорганизация единиц хранения без санкции Смотрителя. Угроза целостности архива. Начинаю процедуру инвентаризации.

Послышался звук — будто кто-то проводит острым пером по пергаменту. Но не по бумаге. По самой тьме. От этого звука амальгама взревела — теперь её вой был полон новой, чистой боли.

Голос Танатоса (сдавленный, из последних сил):

— Не смей... это моё... моё время... мой долг...

Шаг. Ещё шаг. Лёха услышал, как тяжело дышит тролль, будто тащит невидимую гору. Пахло озоном и тлением. Это был запах его истинной, дикой магии, высвобождаемой в отчаянии.

Голос Глаза (прямо в сознании Лёхи, холодный и металлический):

Ты — проводник. Ты — ключ. Он боится не Аудитора. Он боится того, что вспомнит. Подведи Аудитора к Корню. Связь установлена. Рана признает его власть. И тогда... равновесие будет нарушено.

Амальгама, подгоняемая болью от «инвентаризации», металась в темноте. Лёха почувствовал, как мимо его лица пролетело что-то влажное и многосоставное, вскрикивающее детским плачем и старческим брюзжанием. Она наткнулась на полку. Раздался звон бьющегося стекла, и в темноте на миг вспыхнули призрачные видения — все кошмары из разбитой склянки вырвались на свободу, добавив в хаос новые краски.

— Прекратить немедленно! — рявкнул Аудитор, и его голос приобрёл резонанс, от которого задрожали стены. — Единица хранения «Амальгамарный сбой» — помечена к стиранию!

В темноте вспыхнул свет. Но не тёплый свет лампы. Холодное, безжизненное свечение, исходившее от рук Аудитора. Его перья-пальцы излучали мертвенный белый свет, выхватывая из мрака клубящуюся, многоформную сущность. Свет не рассеивал тьму, а вырезал в ней кусок, заключая амальгаму в сияющую клетку.

Амальгама завизжала, пытаясь вырваться, но свет обжигал её, заставляя терять форму. Она таяла, как снег на раскалённой плите.

Это было хуже смерти. Это было небытие.

И тут случилось то, чего не ожидал никто.

Из чёрного корня вырвался луч ледяного синего света. Он ударил в световую клетку Аудитора. Не чтобы разрушить её. Чтобы связаться. В луче танцевали воспоминания самой Раны: боль тролля, ярость, отчаяние. И Аудитор, чей разум был настроен на каталогизацию и оценку, получил этот пакет данных напрямую.

Он замер. Его бесстрастность дрогнула.

— Это... недопустимый уровень личного аффекта... — прошептал он, и в его голосе впервые прозвучало нечто, похожее на замешательство. — Первичная травма Смотрителя... не заархивирована... она активна... Это делает весь архив нестабильной системой...

План Глаза сработал. Он показал Аудитору не «нарушение», а причину. Не сбой в системе, а гнилой фундамент.

Танатос воспользовался моментом. Он не стал атаковать Аудитора. Он сделал нечто страшнее.

Он отпустил контроль.

В темноте раздался звук рвущейся кожи и ломающихся костей. Запах озона сменился смрадом болотной трясины и старой крови. И тогда заговорил четвёртый голос. Тот, что дремал в чёрном корне. Голос того, кем Танатос был когда-то.

Голос Раны (низкий, бульжный, полый, как эхо из пещеры):
— МОЁ...

Это было не слово. Это было землетрясение в мире теней. Белый свет Аудитора затрепал и погас, поглощённой внезапно нахлынувшей, более древней тьмой. Амальгама, почти уничтоженная, с жалобным писком рассеялась, её остатки втянуло обратно в полки, в склянки, в кукол.

Лёха, прижавшись к стене, увидел. Вернее, ему дали увидеть.

На месте Танатоса стояло Нечто. Контуры напоминали высокого, сгорбленного тролля, но тело было слеплено из теней, влажной земли и проглядывающих сквозь них синих, горящих рун. Это была боль, принявшая форму. Его глаза — две ямы, ведущие в абсолютную пустоту. Он был уродлив, первозданен и невероятно, божественно силен в своём отчаянии.

Аудитор отступил на шаг. Его бесстрашие сменилось на холодный, профессиональный интерес хищника, нашедшего достойную добычу.

— Первичный ужас Смотрителя, — констатировал он. — Внесён в реестр как «Объект Ноль». Подлежит изъятию в первую очередь.

Руки-перья взметнулись, испуская уже не свет, а нечто иное — вибрацию тишины, волну принудительного порядка, которая должна была разобрать существо на аккуратные, каталогизированные части.

Ранение Троль (бывший Танатос) просто шагнул навстречу. Волна порядка разбилась о него, как о скалу. Он был хаосом, который отрицал любые правила. Он протянул руку — лапу из спрессованного мрака — и схватил Аудитора за шею.

— ТЫ НЕ ЗДЕСЬ СУДИШЬ, — прогремел голос Раны. — ЗДЕСЬ СТОНЕТ. ЗДЕСЬ ПОМНИТ.

Он не стал душить. Он поделился. Обрушил на холодный разум Аудитора весь вал своей невыносимой, многовековой агонии: предательство сородичей, изгнание, одиночество, вечный страх перед самим собой. Это было не нападение. Это было заражение.

Аудитор затрепетал. Его безупречная, чиновничья душа не имела защиты от такого. Его перья заерошились, свет в них померк, сменившись тревожным мерцанием. Он вырвался из хватки, отлетев к двери. Его голос, когда он заговорил, был сбит, полон помех.

— Данные... некорректны... эмоциональная перегрузка... требуется отступление для... переоценки... — он больше не смотрел на Троля. Он смотрел сквозь него, видя ту бездну, которую невозможно внести ни в один реестр. — Архив... признан неподсудным. Слишком высокая энтропия. Карантин... рекомендована изоляция...

И, не дожидаясь ответа, Аудитор растворился в тенях дверного проёма, словно его и не было.

Остались они. Лёха. И чудовище, бывшее когда-то коллекционером.

Троль медленно повернул к нему свои пустые глазницы. Синие руны на его теле пылали яростью.

— ТЫ... — простонал он. — ТЫ ОСВОБОДИЛ...

Глаз, всё ещё парящий в воздухе, мягко опустился перед Лёхой, как щит. Его багровый свет был теперь спокоен.

Он боится себя больше, чем тебя, — прозвучало в голове у Лёхи. Он всегда боялся. Теперь страх снаружи. Он не знает, что делать. Дай ему знать.

Лёха, дрожа от холода и ужаса, посмотрел на это воплощение страдания. Он не видел монстра. Он видел того беженца из своего видения. Того, кто искал место, чтобы спрятать свою боль.

И он вспомнил слова Танатоса-смотрителя, сказанные с высокомерием, но, как теперь понимал, с отчаянием: «Я поддерживаю здесь... порядок».

— Ты... ты можешь снова собрать себя, — хрипло сказал Лёха, обращаясь к Троллю. — Ты же знаешь, как. Ты делал это 150 лет. Надень шляпу. Возьми трость. Запиши... запиши это. Себя. Сегодняшний день. Как новую историю в своей коллекции.

Троль замер. Слово «коллекция» прозвучало как якорь в бушующем море его сознания. Он посмотрел на валявшуюся на полу треснувшую шляпу-котелок. На трость с потухшим камнем.

— ПОРЯДОК... — пробурчал он, и в его голосе послышался отзвук старого, привычного тона. — МОЙ ПОРЯДОК...

Он наклонился. Теневые лапы коснулись шляпы. В момент прикосновения тень отхлынула от его пальцев, обнажив на мгновение кожу в перчатках. Он поднял трость. Камень на набалдашнике, коснувшись его ладони, вспыхнул тускло — не багровым, а синим, как руны. Как свет Раны, но теперь подконтрольный.

Он водрузил шляпу на голову. Она съехала набок, но он поправил её. Медленно, с болезненным хрустом, его тело начало стягиваться. Тени втягивались внутрь, форма становилась чётче, прямее. Пустые глазницы заполнились — сначала тьмой, потом серым, разумным светом.

Через минуту перед Лёхой стоял снова Танатос. Но не прежний. Куртка была порвана в нескольких местах, обнажая почерневшую кожу с рунами. Очки отсутствовали, и его серые глаза были красными от напряжения, в них плавали остаточные тени. Он дышал тяжело, как человек после страшной болезни. Он был надломлен. Но он был собран.

Он посмотрел на Лёху. Взгляд был усталым, лишённым прежнего презрения.

— Ты... — он попытался найти слова. — Ты не стал бежать. Ты... предложил процедуру.

— Я предложил клетку, — честно сказал Лёха. — Такую, в которой можно дышать.

Танатос кивнул. Потом его взгляд упал на Глаз, лежавший теперь спокойно на полу.

— А этот... артефакт. Он хотел хаоса. Чтобы Рана уничтожила Аудитора. Чтобы система пала.

— И что с ним делать? — спросил Лёха.

Танатос наклонился, поднял Глаз. Рассмотрел его. Багровый свет в зрачке погас. Теперь он был просто красивым, жутковатым стеклянным шариком.

— Его история закончена, — тихо сказал Танатос. — Он добился своего. Он заставил меня вспомнить. Теперь он... просто стекло. — Он открыл пустую шкатулку и положил глаз внутрь. — Будет напоминанием. О том, что даже у архива есть свои... революционеры.

Он взглянул на разруху в своём кабинете. На чёрный корень, который теперь лишь слабо пульсировал синим.

— Мне потребуется время. Чтобы всё восстановить. Перекаталогизировать. — Он посмотрел на Лёху. — Твоя тень... она повреждена. Ты будешь чувствовать пустоту. Холод. Ты всегда будешь... немного резонировать с этим местом.

— Это... навсегда? — голос Лёхи дрогнул.

— Ничто не вечно, — сказал Танатос, и в его голосе прозвучала старая, горькая мудрость. — Даже память стирается. Даже рана зарастает. Шрамом. — Он вздохнул. — Утро близко. Недобрый час кончается. Я провожу тебя до опушки.

Это не было предложением. Это был приказ. Но в нём не было угрозы. Была усталая ответственность.

На пороге, когда первые лучи солнца начали пробиваться сквозь чашу, Танатос остановился.

— Правила леса, — сказал он, не глядя на Лёху. — Они не для вашей безопасности. Они для моей. Помни об этом. И... — он запнулся. — Если эта пустота внутри станет невыносимой... ты будешь знать дорогу.

Он не сказал «возвращайся». Он сказал «ты будешь знать дорогу».

Лёха вышел на опушку. Обернулся. На месте дуба-хранилища виднелись лишь обычные деревья, залитые утренним золотом. Ни дупла, ни вывески. Только тишина и запах хвои.

Он посмотрел на свою тень, падающую на траву. Она была бледной, неровной, будто выведенной кислотой. И когда он тронулся в сторону дома, тень за ним потянулась нехотя, слегка отставая, будто часть её навсегда осталась там, в Хранилище Услышанных Шёпотов, на странице нового тома под предварительным названием: «Мальчик, который коснулся Корня».

Опричник

«Аз есмь пес смердящий, привязанный на цепь железную. И цепь сия — воля царёва. И смрад мой — закон.»

Глава 1. Опричник

Ветер выл, как затравленный зверь, вырывая из сугробов клочья поземки и швыряя их в лицо. Он шёл неспешно, чуть пригибаясь, но не от ветра — от тяжести знака. Чёрная шуба из грубой волчьей шкуры колыхалась за спиной, будто приросшая тень, жаждущая новой жертвы.

На поясе, притороченная сыромятным ремнем, болталась собачья голова. Не просто высушенный трофей — а ритуальный. Кожа натянулась на черепе, обнажив оскал, вечно застывший в немом рычании. Глазницы были пусты, но иногда, на перекрестьях дорог или у порога обреченного дома, ему казалось, что в их черноте мерцает тусклый, желтоватый огонек. Бред, конечно. Усталость. Дым от горелых дворов, вьёвшийся в мозг.

Запах. Боже, этот запах. Сладковатая вонь гниющей плоти, смешанная с дымом ладана и чем-то медвежьим, звериным. Он пропитал шубу, кожу, волосы. Он вьёлся в лёгкие так глубоко, что обычный воздух теперь казался пустым, ненастоящим. Люди шарахались от этого смрада за версту. Он был их предвестником, их псом. Псом, который пришел вынюхивать измену.

В правой руке, привычно и легко, он держал саблю. Не просто оружие. Её выковали в слободе из тёмной стали, что не давалась обычным кузнецам. Говорили, песок для литья смешивали с пеплом сожжённых еретиков и землей с их могил. Лезвие не блестело. Оно пожирало свет, делая пространство вокруг себя чуть темнее, гуще. Оно жаждало. Он чувствовал эту глухую пульсацию через рукавицу.

Путь вёл к усадьбе боярина Колычева. Донос был точен, как удар кнута: тайная переписка, сношения с литовским воеводой, крамольные речи. Слухи в последние недели плодились, как черви в тёплом навозе. Страх был таким плотным, что его можно было резать ножом и намазывать на хлеб. Он это видел в глазах. И сам этот страх, этот всеобщий ужас, был топливом. Для чего — он не спрашивал. Служил.

Дом встретил его гробовой тишиной. Не просто отсутствием звука, а тишиной вымершего места. Резная дубовая дверь была тяжела, как крышка гроба. Он не стал ломать её плечом. Постучал костяшками рукавицы — один раз, ровно, без злобы.

Тук.

Изнутри — еле слышный шорох, сдавленный вздох. Не визг, не топот ног. Замирание. Он сразу понял: невиновен. Виновные бьются в истерике, мечутся, пытаются сбежать в задворки. Невиновные... невиновные принимают. Как ягнёнок под нож. От этой мысли в горле встал ком.

Он толкнул дверь. Она отворилась без скрипа, будто её ждали.

В горнице, у стола, сидел старик. Не седой и благородный патриарх, а иссохший, как корень, человек с прозрачными глазами. Руки лежали на столешнице ладонями вниз — спокойно. Слишком спокойно.

— Говорят, ты пишешь за границу, — голос опричника прозвучал хрипло, будто из-под земли. Он ненавидел эту фразу. Этот ритуал.

— Говорят... — старик чуть дрогнул уголком губ. Не улыбка. Тень сожаления. — Но ведь Царю-батюшке шепчут многое. А шепот, сынок, часто лжёт.

Взгляд старика скользнул по чёрной стали сабли, задержался на ней, потом медленно, неумолимо поднялся к собачьей голове у пояса. В пустых глазницах трофея, в этот миг, опричнику снова почудился слабый желтый отсвет.

— Тяжёлый знак, — прошептал старик, и в его голосе не было страха. Была жалость. — Он страшнее любого приказа. Он... живой. И голодный.

Опричник сжал рукоять сабли так, что кожа рукавицы затрещала. Мир вокруг затрещал по швам. Давление этой машины, этого чудовищного механизма, ломало не только жертв — оно перемалывало и тех, кто крутил его колеса. Он был не палачом. Он был шестернёй, смазанной человеческим салом.

— Я должен... — голос сорвался. Он выдохнул, заставил себя. — Я должен выполнить приказ.

— Знаю, — старик кивнул, словно принимая чашу. Закрыв глаза. — Не тебе в упрёк. Делай, собака царёва.

Удар. Не вспышка ярости, а точное, почти хирургическое движение. Быстро. Без мучений. Чёрная сталь вошла тихо, будто в масло, и вышла, не издав ни звука. Ни крика, ни хрипа. Только короткий выдох и глухой стук тела о пол.

Он пришёл как орудие. А стоял над телом, чувствуя, как собачья голова у пояса стала на миг теплее, тяжелее, будто насытившись. Его тошнило. Не от вида крови. От осознания. Он только что накормил её.

На улице ветер ударил в лицо, пытаясь сдуть с него этот поганый смрад — тщетно. Сабля скользнула в ножны с сырым, липким звуком, которого раньше не было. Голова пса глухо бухнула ему по бедру, отдаваясь эхом в костях.

И тут его осенило, как ударом обуха. Этот глухой звук, этот стук пустой, высохшей плоти о его ногу — будет преследовать его вечно. Он забудет лицо старика, забудет слова приказа. Но этот тупой, мертвый стук — он останется. Как сердцебиение ада. Как ритм.

Он повернулся и пошёл прочь, в стущающиеся сумерки. А за спиной, в опустевшей горнице, на тёмном полу, тень от упавшего тела шевельнулась не так, как должна была. И на секунду показалось, что у неё есть очертания собачьей головы.

Глава 2. Шепот во тьме

Слобода встретила его не тишиной, а гулом. Не тем весёлым гомоном, что бывает на торгу, а низким, приглушённым рокотом — будто гигантская бормашина вгрызалась в самую плоть Московии. Здесь жила Опричина. Не идея, не указ — а плоть от плоти страха. Деревянные терема, похожие на частоколы, утыканные собачьими и волчьими головами. Их пустые глазницы смотрели на каждого входящего, и смрад стоял такой, что птицы облетали слободу стороной.

Он шёл по грязи, не замечая её. В ушах всё ещё отдавался тот глухой стук — бух-бух, бух-бух, в такт шагам. Словно второе сердце, заведённое в груди. От запаха псины и тления его уже не тошнило — это был его воздух. Но сегодня в нём чувствовалась новая нота. Сладковатая, знакомая. Запах свежей крови, его крови, той, что осталась на сабле и рукавицах.

Казарма опричника была не комнатой, а берлогой. Тесная, без окон, с земляным полом. Печка-каменка накаляла воздух до состояния бани, но внутри него была вечная мерзлота. Он сбросил шубу на лавку, отстегнул собачью голову и замер, держа её в руках.

Кожа была холодной и шершавой, как старая пергаментная грамота. Но в глубине, под пальцами, чудилось слабое биение. Или это пульсация в его собственных висках? Он поднёс её к лицу, вглядываясь в пустые глазницы.

И услышал.

Не звук. Не слово. Вкус. На языке возник привкус медной монеты и тёплого кваса. И ощущение — будто кто-то провёл мокрой тряпкой по затылку. Отзыв. Это был отзыв на сегодняшнее дело.

— Нажрался? — хрипло пробормотал он, швыряя голову в тёмный угол. Та покатилась и встала, уткнувшись оскалом в стену, словно высматривая добычу в темноте.

Он начал чистить саблю. Тряпка шла туго, чёрная сталь будто впитывала кровь, оставляя на поверхности лишь липкую плёнку. В свете лучины лезвие казалось не тёмным, а глубинным, как прорубь в январе. Глядя в него, он видел не своё отражение, а искажённые тени — мелькание лица старика Колычева, дрожащий огонёк свечи в его горнице...

Стук в дверь. Резкий, отрывистый, не терпящий промедления.

— Вас к Малютке. Немедля.

Голос за дверью был молодой, но уже пропитанный той же спесью и пустотой. Звали этого опричника Лютый. Не имя — кличка. И она подходила.

Сердце ёкнуло, но не от страха. От предчувствия. Малюта Скуратов вызывал не для благодарностей.

Приказная изба пахла по-другому. Дорогим воском, кожей с Востока и ещё чем-то едким, лекарственным. Малюта сидел за столом, не пишуший, не читающий — впитывающий. Он был

невелик ростом, но в его присутствии воздух становился гуще. Его лицо, обрамлённое аккуратной бородкой, было спокойно, как поверхность лесного озера, под которым гниют целые деревья.

— Садись, Андрей, — сказал Малюта. Голос тихий, ровный. От этого было ещё хуже.

Андрей. Он почти забыл, что у него есть имя. Он сел, ощущая, как мокрая от снега одежда начинает чадить на его теле.

— Колычев, — произнёс Малюта, глядя куда-то мимо него, будто разглядывая невидимую нить. — Чисто?

— Чисто, — хрипло ответил Андрей. Без крика, без мучений. Застыл, как ягнёнок.

— Хорошо. Старик был... уважаем. Змей подколотный, но уважаем. Его смерть вызовет шепотки. — Малюта перевёл на него взгляд. Глаза цвета мокрого камня. — Шепотки нам не нужны. Нужен гром. Чтоб все слышали и боялись не шептать.

Андрей молчал, чувствуя, куда клонится речь.

— Есть дело. В Скородомье. На выезде. — Малюта выдержал паузу, давая словам впитаться. — Там живёт кузнец. Тороканом звать. Слышал?

Андрей мотнул головой. Нет.

— Хороший кузнец. Мечи, доспехи... для наших даже делал. — Малюта медленно провёл пальцем по резному краю стола. — А теперь... бают, будто начал ковать не то. Не для людей.

В избе повисла тишина, нарушаемая лишь треском поленьев в печи.

— Что значит «не то»? — спросил Андрей, хотя уже знал ответ. Он чувствовал его нёсшимся в воздухе, как предгрозовой озноб.

Малюта наконец посмотрел на него прямо. В его глазах не было ни гнева, ни подозрения. Был интерес. Холодный, исследующий интерес энтимолога к редкому жуку.

— Знаки, — тихо сказал Малюта. — Знаки не наши. Не христианские. Старые. И говорят... — он слегка наклонился вперёд, — говорят, после того как в его руках остывает металл, в кузнице слышен вой. Не ветра. И не волка. А... будто многих глоток сразу. И соседи слышат шорохи в своих избах. Будто что-то пробуждается в земле.

Он откинулся на спинку кресла.

— Ты пойдёшь. Один. Посмотришь. Псов туда гонять — лишний гул. А ты... ты тихий. И у тебя нюх появился. — Взгляд Малюты скользнул в сторону, будто в угол комнаты, где стояла тень. — И помощник есть.

Андрей почувствовал, как у него по спине побежали мурашки. Он говорил о голове.

— Если кузнец виновен в ереси и сношениях с нечистой силой — поступи по уставу. — Малюта говорил будто о вывозе навоза. — Если нет... разберись. Но шорохи должны прекратиться. Понятно?

Понятно. Убрать не только человека. Убрать симптом. Заткнуть дыру, из которой лезет что-то, чему нет имени в указах.

— Понятно, — выдавил Андрей.

— Иди. Завтра на рассвете. — Малюта уже смотрел в бумагу, отпуская его. На полпути к двери его тихий голос догнал Андрея: — И возьми своего пса с собой. Пригодится.

Выйдя на мороз, Андрей сделал глубокий вдох. Лёд обжигал лёгкие. В берлоге он механически взял собачью голову, чтобы приторочить к поясу. В тот миг, когда пальцы коснулись шершавой кожи, в ушах ясно и отчётливо прозвучало:

«Ско-ро-домье...»

Голос был скрипучим, множественным, будто десяток глоток шептали в унисон. Он выронил голову. Та упала на земляной пол и покатилась, сама, сделав полный круг, и снова уставилась на него пустыми глазницами.

В них теперь горел ровный, уверенный жёлтый огонёк. Как у волка в ночи.

Андрей обхватил голову руками. Не для молитвы — чтобы не закричать. Потом, с тихим проклятием, намертво пристегнул её к поясу. Головёшка в печи с треском развалилась, отбрасывая на стену пляшущие тени.

Одна из теней, от собачьей головы, была слишком большой. И она двигалась не в такт огню.

Глава 3. Скородомье

Дорогу в Скородомье не чистили. Её проели. Колёсами телег, копытами тощих кляч, босыми ногами отчаявшихся. Она вилась меж покосившихся изб и чахлах ёлок, как гнойная рана на теле земли. Воздух здесь был другим. Не чистый морозный дух Москвы, а тяжёлый, спёртый — пахло болотной гнилью, гарью и чёрной человеческой нуждой.

Андрей шёл, и собачья голова у бедра жила. Она не просто болталась — она проводила его, лёгкими тычками указывая направление, будчужая след. Тот жёлтый огонёк в глазницах плясал тусклым, но ненасытным пламенем. Он уже не пытался его игнорировать. Эта тварь была его компасом в аду, который ему предстояло навестить.

Избы Скородомья лепились друг к другу, словно испуганные овцы. Окна были забиты тряпьем, на скрипучих воротах — знаки. Не опричные собачьи головы, а иные: нацарапанные углём спирали, перекрещенные линии, схематичные деревья с корнями, уходящими в небо. Защита. Или приглашение.

Люди, мелькавшие в проулках, не шарахались от него. Они замирали. В их взглядах не было привычного животного страха перед опричником. Был другой ужас — глубокий, мистический, как будто они видели не человека в чёрной шубе, а предвестника чего-то неотвратимого. Старуха, выносившая помои, перекрестилась не на него, а от него, тыльной стороной ладони — старый знак от сглаза.

Кузня Торокана стояла на отшибе, у самого края слободы, где начиналось болото. Не низкая, уютная мастерская, а чёрный, приземистый зуб, вросший в землю. Труба не дымила. Тишина вокруг была не мирной, а выжженной, мёртвой. Даже воронье не садилось на покосившуюся крышу.

И тут Андрей почувствовал.

Не запах. Давление. Будто воздух вокруг кузни стал плотным, тягучим, как кисель. Собачья голова на поясе дёрнулась, повернувшись к двери всем своим высохшим оскалом. Жёлтый огонёк вспыхнул ярче, окрасив снег перед ним в болезненный, сернистый цвет.

Он толкнул дверь. Она поддалась с тихим стоном, будто давно не отворялась.

Жар ударил в лицо, сухой и мёртвый, не от раскалённого горна, а будто из глубины самой земли. Кузня была заставлена тенями. На наковальнях лежали странные, незаконченные формы — не мечи, не подковы. Что-то изогнутое, колючее, с шипами и крючьями. Металл был тёмным, пористым, будто его выковали не из железа, а из спрессованной ржавой земли.

В дальнем углу, у холодного горна, сидел человек.

Торокан. Но это был не богатырь-кузнец из сказок. Это был скелет, обтянутый кожей и копотью. Его длинные, костлявые руки лежали на коленях, пальцы судорожно сжимались и разжимались, будто продолжая ковать впустую. Он смотрел на Андрея, и в его глазах горел тот же огонь, что и в глазницах собачьей головы — отражённый, не свой.

— Пришёл, — проскрипел кузнец. Голос был похож на звук пилы по ржавому железу.
— Пёс царёв. Чуюл, что придешь. Оно чуюло.

Андрей шагнул внутрь, чувствуя, как собачья голова на поясе вибрирует, издавая неслышимый, но ощутимый костяной гул.

— Торокан. Тебя обвиняют в ереси. В колдовской ковке.

Кузнец издал звук, похожий на короткий, сухой лай.

— Ересь... Колдовство... — он медленно покачал головой. — Я искал силу. Чтобы защитить. От вас. От голода. От этой... тьмы. — Он махнул рукой в сторону своих творений. — Нашёл знаки. Старые. Которые тут, в земле, лежат. Они... откликнулись.

Он вдруг резко встал, и его тень, отброшенная тусклым светом из открытой двери, подернулась, зашевелилась не в такт движению. Стала гуще, обрела лишние, щупальцевидные отростки.

— Они голодные, — прошептал Торокан, и в его шёпote слышалось уже множество голосов. — Древние. Им нужна... плоть. Дыхание. Страх. Я давал им... металл. Форму. Но мало... Мало!

В этот момент собачья голова на поясе Андрея взвыла.

Не метафорически. Из высохшей глотки вырвался настоящий, низкий, многослойный вой, от которого задрожали стены и с полок посыпались железные обрезки. Жёлтый огонёк вспыхнул ослепительно.

Тень Торокана отделилась от него.

Она поползла по земляному полу, густая, как смола, принимая форму чего-то низкого, многоногого, утыканного тенями-шипами. Из неё исходил запах — горький, как полынь, и сладкий, как разложение.

— Вот он! Пёс на цепи! — закричал прошипел завыл Торокан, и его собственное тело начало оседать, как пустой мешок. Жизнь, сила, само его нутро утекало в эту тень. — Давай! Дай ему! Он сытый, твой пёс! Он из той же грязи!

Тварь из тени рванулась вперёд. Не на Андрея. На собачью голову.

Инстинкт опричника сработал быстрее мысли. Чёрная сабля была в его руке, и он рубанул по надвигающейся тени.

Лезвие прошло сквозь неё, не встретив сопротивления, но тень взревела — оглушительным, лишённым источника звуком, от которого в ушах лопнуло что-то теплое и липкое. В месте удара тень вспыхнула коротким зелёным пламенем и отхлынула.

Собачья голова на поясе рвалась с ремня, пытаясь кинуться навстречу. Её вой стал невыносимым, в нём слышались ярость, голод и... узнавание.

Андрей, оглушённый, с кровью в ушах, увидел, как тело Торокана окончательно падает на пол, а вся тьма в кузне начинает стягиваться к той самой тени, питая её, делая плотнее, реальнее. На земле, вокруг наковальни, засветились те самые знаки — проступили сквозь грязь кроваво-красным, тёплым свечением.

Он понял. Он не может убить это саблей. Кузнец был лишь рупором, дверью. Дверь теперь открыта. И закрыть её можно только одним способом.

С диким рыком, в котором смешались его собственный голос и хрип тысячи глоток, он сорвал с пояса собачью голову и швырнул её прямо в центр светящихся знаков, в эпицентр сгущающейся тени.

Произошла молчаливая вспышка.

Не света, а обратной тьмы. Словно пространство сам на миг схлопнулось. Собачья голова, ударившись о землю, раскололась пополам. Но не вдребезги. Из разлома хлынул не свет, а абсолютная чернота и тот же жёлтый огонь, смешавшись в вихрь.

Тень завизжала. Её форма поплыла, закрутилась, стала всасываться в этот чёрно-жёлтый вихрь. Знаки на полу погасли один за другим, с шипением, будто раскалённое железо опускали в воду.

Через мгновение всё стихло.

В кузне пахло озоном и пеплом. На полу лежали две половинки черепа собаки, почерневшие и безжизненные. Рядом — иссохшее тело Торокана. Тени были обычными.

Андрей стоял, опираясь на саблю, сердце колотилось так, будто хотело вырваться из груди. В ушах звенело. Он посмотрел на расколотый артефакт. Инструмент сломался, выполнив последнюю службу.

Но когда он повернулся, чтобы уйти, его взгляд упал на одну из наковален. Там, среди странных железных форм, лежал небольшой, только что начатый предмет. Маленький колокольчик. И на его боку был вычеканен крошечный, но отчётливый знак — та самая собачья голова.

Он поднял его. Металл был ледяным. Он сунул колокольчик в карман шубы, не думая, зачем. Потом, на пороге, оглянулся. В пустых глазницах расколотого черепа уже не было огня. Была только пустота. Но ему показалось, что на миг в той пустоте отразилось не его лицо, а что-то другое. Что-то древнее и ждущее.

Он вышел. За его спиной кузня Скородамья навеки замолчала. Но в кармане, на самом дне, ледяной колокольчик тихо звякнул один раз, отзываясь на шаг.

Глава 4. Отчёт

Слобода встретила его тем же гниlostным гулом, но теперь этот звук резал слух, как тупой нож. В ушах всё ещё стоял тот немой вой из кузни, смешанный с тихим звоном. Звоном из кармана. Ледяной колокольчик звякал при каждом шаге, отдаваясь леденящей вибрацией в бедре. Он шёл, не чувствуя ног, проваливаясь в грязь по колено. На поясе, где раньше болталась собачья голова, теперь болтались лишь два обрывка сыромятного ремня. Пустота на этом месте весила больше, чем любой трофей.

Его заметили сразу.

Опричники, возвращавшиеся с «промысла» с обледеневшими бородами и пустыми глазами, замедляли шаг. Их взгляды — не любопытные, а оценочные, звериные — скользили по его закопчённой шубе, задерживались на пустом поясе. Потом поднимались к его лицу. И в этих взглядах читалось не сочувствие, а настороженность. Как стая чует, что один из её членов вернулся пахнущим чужим дымом и собственной кровью.

Казарма показалась ему не берлогой, а клеткой. Он запер дверь на засов, прислонился к ней спиной и впервые за долгое время позволил себе дрожать. Не от страха. От перегруза. Картины вспыхивали в мозгу: пляшущая тень, расколотый череп, пустые глаза Торокана. Он сгребал с полки деревянный ковш с водой и жадно пил, но вода была тёплой, затхлой, не смывала со рта привкус меди и пепла.

Из кармана он вынул колокольчик. В тусклом свете лучины он был невзрачным — маленький, из тёмного, почти чёрного металла, покрытый тонкой паутиной не то трещин, не то вытравленных узоров. Знак собачьей головы на нём был размером с ноготь, но выполнен с пугающей точностью. Он прикоснулся к нему пальцем.

Дзынь.

Звук был крошечным, чистым, пронзительным. И от него по спине пробежали мурашки, но не от холода. От узнавания. Будто что-то в самых тёмных углах его сознания откликнулось на этот звон. Он резко сунул колокольчик обратно в карпа и замотал его тряпкой. Тишина, наступившая после этого, была оглушительной.

Его вызвали к Малютке до рассвета.

В приказной избе пахло по-прежнему — воск, кожа, лекарственная горечь. Но сегодня в воздухе висело ещё что-то. Напряжение. Малюта сидел за столом, перед ним лежал развернутый свиток, но он не читал. Он ждал.

— Ну? — спросил он, не глядя. Одно слово, в котором поместился весь допрос.

Андрей стал докладывать. Сухо, по-солдатски: прибыл, обнаружил кузнеца в состоянии умопомешательства, признаки ереси в виде странных кованных форм и знаков. Столкнулся с «проявлением нечистой силы, вызванной, предположительно, ритуалами подсудимого».

Он умолчал о деталях. О том, как тень отделилась. О том, как воющая голова на его поясе стала частью битвы. Он говорил просто: «сущность была уничтожена, кузнец мёртв, очаг скверны ликвидирован». И последняя, самая тяжёлая часть: «в ходе ликвидации опознавательный знак, собачья голова, был... утрачен. Разрушен сущностью».

Он замолчал, готовясь к гневу, к подозрениям в слабости или, что хуже, в потере контроля над вверенным «инструментом».

Малюта медленно поднял на него взгляд. Его каменные глаза изучали Андрея, скользили по пустому поясу, возвращались к лицу. В них не было ни гнева, ни разочарования.

— Утрачен, — повторил Малюта без интонации. Потом откинулся на спинку кресла. — Жаль. Твой был... чуткий. Из раннего выводка. — Он сделал паузу, давая словам повиснуть. — «Уничтожен сущностью»... Интересно. Обычно они просто гаснут, если хозяин слаб. Твой — сражался.

Андрей почувствовал, как холодеет внутри. Он знал, что головы как-то связаны с их носителями, но «выводок»? «Чуткий»?

— Нет худа без добра, — продолжил Малюта, и в его голосе прокралась тонкая, как лезвие бритвы, нить любопытства. — Ты увидел. Понюхал. Остался жив. И даже... что-то принёс с собой.

Сердце Андрея упало в пятки. Как?
— Я... не понимаю, — пробормотал он.

— Не притворяйся, Андрей, — тихо сказал Малюта. Его взгляд стал острым, цепким. — Лютый шёл за тобой издалека. По приказу. Доложил, что из кузни доносился «странный гул, а после — чистая тишина». И что ты вышел... и у тебя в кармане что-то звенело.

Андрей стоял, сжав кулаки. Предательство и слезка жгли горло кислотой. Лютый. Падаль собачья.

— Показывай, — приказал Малюта. Не повышая голоса. Но в этой тишине приказ прозвучал громче крика.

Медленно, будто вынимая из себя осколок, Андрей достал из кармана тряпицу, развернул её и положил на край стола чёрный колокольчик.

Малюта не стал брать его в руки. Наклонился, всматриваясь. Узкие зрачки сузились ещё больше, уловив крошечный знак.

— Любопытно, — прошептал он. — Он не просто копал знаки в земле. Он... впечатывал их в металл. Давал им голос. — Он поднял глаза на Андрея. — Это не ересь. Это... алхимия. Древнее ремесло. Опаснее любой молитвы сатане.

— Что с ним делать? — хрипло спросил Андрей.

— Сохранить, — немедленно ответил Малюта. — Это теперь твой новый знак. Твой... маяк. — В его глазах мелькнул тот же расчётливый интерес. — Голова чуяла следы. А этот... он может позвать. Или предупредить. Ты почувствовал?

Андрей кивнул, не в силах лгать. Да, почувствовал.

— Хорошо, — Малюта снова откинулся, сигнализируя, что аудиенция окончена. — Отдыхай. Завтра будет новое задание. Без Лютого. Один. — Он снова посмотрел на колокольчик, и в уголке его рта дрогнуло нечто, отдалённо напоминающее улыбку. — И береги свой новый колокольчик, Андрей. Таких... у нас больше нет.

Выйдя на воздух, Андрей почувствовал, как его прошибляет холодный пот. Его не наказали. Его повысили. Сделали ещё более особенным, ещё более одиноким. С новым, непонятным артефактом, о котором теперь знает Малюта. И с врагом в лице Лютого, который явно воспринял его как угрозу.

Он шёл по слободе, и теперь взгляды, бросаемые ему в спину, были ещё тяжелее. Словно все уже знали, что его старый «пёс» мёртв, а новый — не такой, как у всех.

Дойдя до своей берлоги, он запер дверь, прислонил к ней ухо. Тишина. Потом, из глубины кармана, сквозь тряпку, донёсся едва слышный, словно издалека:

Дзы...нь...

На этот раз в звуке было что-то предостерегающее. Он резко развернул тряпку. Колокольчик лежал смирно. Но на стене напротив, в луче лунного света, падающего из бойницы, плясала тень. Не его тень. Маленькая, искажённая, с очертаниями, напоминающими то ли щенка, то ли паука. И она двигалась не в такт его дыханию.

Она двигалась сама по себе, тихо покачиваясь в такт несуществующему ветру. Ждущая. Наблюдающая.

Глава 5. Маяк

Приказ пришёл на третий день, через мальчишку-прислужника, чьи глаза избегали встречи с его взглядом. Клочок грубой бумаги, два слова, выведенные острым почерком Малюты: «Кривой переулочок. Ночь.»

Ни объяснений, ни контекста. Только адрес в самой глубине Посада, куда даже опричники заглядывали с оглядкой. Андрей понял — это проверка. Проверка нового инструмента.

Колокольчик в кармане, обёрнутый в кожу, был молчалив и холоден. Но его присутствие чувствовалось, как лёгкий груз на душе. Перед выходом Андрей снова развернул его, положил на ладонь. Знак собачьей головы казался ещё глубже, будто вдавленным в металл чьей-то нечеловеческой силой. Он не звонил. Он ждал.

Кривой переулочок был не переулочком, а щелью — тёмным провалом между двумя облупленными стенами, заваленным хламом и нечистотами. Здесь не было фонарей, только бледный свет луны, скупой и неверный. Воздух был густой, спёртый, пахнувший затхлой водой и чем-то сладковато-кислым, как прокисшая брага.

Андрей остановился у входа, ощущая, как колокольчик в кармане дёргается. Не звоном. Едва заметной вибрацией, будто крошечный колокольный язык бьётся о края в панике. Он замер, вглядываясь в темноту. Ничего. Только пляшущие тени от облаков.

Он сделал шаг вперёд.

И тогда из глубины кармана прорвался звук. Не громкий, но невыносимо ясный в гробовой тишине переулочка.

ДЗЫНЬ-ДЗЫНЬ-ДЗЫНЬ!

Три отрывистых, тревожных, почти истеричных звона. Ледяная волна пробежала по спине. Опасность. Не впереди. Здесь. Сейчас.

Он рванулся к стене, прижимаясь к холодному камню, левая рука — на эфесе сабли, правая зажимает карман, пытаясь заглушить звук. Колокольчик бился под тканью, как пойманная птица.

Из темноты перед ним, из кучи мусора, поднялась фигура. Медленно, с неестественным, костлявым скрипом. Это не был нищий и не пьяница. Фигура была слишком высокой, слишком тонкой, будто её вытянули за конечности. Одежда висела лохмотьями. Андрей не видел лица, но чувствовал на себе её взгляд — тяжелый, липкий, полный немого вопроса.

— Тихо... — прошептал он сквозь зубы, сжимая карман.

Но колокольчик не умолкал. Теперь его звон стал монотонным, настойчивым, как погребальный колокол. Дзынь... дзынь... дзынь...

Фигура сделала шаг. Её движение было плавным, скользящим, беззвучным. Лунный свет упал на её руки — длинные, с неестественно большими суставами, пальцы заканчивались не ногтями, а чем-то тёмным и острым, крючками из чёрного хитина.

Не человек. Не тень из кузни. Нечто другое. Но колокольчик реагировал на него панически.

Существо издало звук — тихое, мокрое чмокание, будто что-то переворачивалось в его пустой глотке. Оно чуяло звон. Звон его приманил.

Андрей понял всё сразу. Ловушка. Не от Малюты. От кого-то, кто знал, что у него есть эта штука. Кто-то подсунул Малюте информацию про «аномалию» в Кривом переулке. И теперь сюда выпустили приманку — его самого с его новым, кричащим артефактом. И посадили охотника.

Существо рванулось вперёд с неожиданной, взрывной скоростью. Андрей выхватил саблю. Чёрная сталь, привыкшая к крови, в этот раз взвыла в его руке — тонким, высоким звуком, почти в унисон с колокольчиком. Он отшатнулся, пропуская скользящий удар когтистой лапы, которая счистила со стены пласт штукатурки.

Он не мог сражаться здесь, в узкой щели. Нужно было на открытое пространство. Он отскочил назад, к выходу из переулка, непрерывно звонящий колокольчик болтался у бедра, выдавая каждое его движение.

Существо преследовало его, двигаясь рывками, как насекомое. Его тень, отбрасываемая луной, была длинной, изломанной, не совпадающей с формой тела.

Вырвавшись из переулка на пустынную площадь у старого колодца, Андрей развернулся, приняв боевую стойку. Существо выплыло из темноты, остановилось, его безликая голова слегка склонилась набок, изучая.

ДЗЫНЬ-ДЗЫНЬ-ДЗЫНЬ-ДЗЫНЬ! — колокольчик забился в истерике.

И в этот момент Андрей увидел его. На крыше одноэтажной каменной кладовой, в тени. Невысокую, крепкую фигуру в опричной шубе, с капюшоном, но без собачьей головы на поясе. Фигура просто стояла и наблюдала. В её руке что-то блеснуло — металлическое, похожее на арбалет, но изогнутое, уродливое.

Лютый.

Ярость, чёрная и бездонная, поднялась в Андрее выше страха. Он. Он натравил эту тварь. Хотел убрать конкурента, добыв заодно и колокольчик.

Существо, отвлеченное его взглядом, снова ринулось в атаку. Андрей парировал удар, чёрная сталь сабли встретилась с хитиновым когтем, и раздался звук, будто рубят сухое дерево. Коготь треснул, но не сломался. Существо отпрыгнуло, издав шипящий звук боли.

На крыше Лютый поднял своё оружие. Не на тварь. На него.

Инстинкт и ярость слились воедино. Андрей не стал уворачиваться. Он рванулся навстречу существу, в последний миг перед столкновением пригнувшись и сделав подсечку. Существо, не ожидавшее такого, пошатнулось, его тело на мгновение закрыло Андрея от стрелка на крыше.

Раздался тупой, хлюпающий звук. Что-то вонзилось в спину существа сзади. Не стрела, а какой-то толстый, короткий дротик. Существо взвыло — на этот раз по-настоящему, голосом полным боли и ярости. Оно затряслось, его формы поплыли, стали неестественно пульсировать.

Андрей не стал ждать. Он вскочил, развернулся и бросился бежать не прочь от площади, а к узкому проходу между кладовыми, ведущему в лабиринт задворков. Он слышал за спиной хриплые вопли твари и гневный, приглушённый крик Лютого.

Он бежал, не разбирая дороги, глуша рукой безумный звон в кармане. Сердце колотилось, выпрыгивая из груди. Его хотели убить свои же. И использовали для этого какую-то тварь, которую, видимо, тоже выманили или создали теми же «алхимическими» методами.

Только в глубине заброшенного сада, завалившись за полуразрушенную печь, он позволил себе остановиться. Дыхание рвало горло. Он вытащил колокольчик. Тот наконец затих, лишь изредка вздрагивая, как в лихорадке. В лунном свете на металле проступила тонкая сетка трещин, расходящаяся от знака собачьей головы. Артефакт был повреждён. Напряжён. На грани.

Он посмотрел в темноту, откуда прибежал. Войны с нечистью было мало. Теперь началась война внутри стаи. И у него на руках был только треснувший, ненадёжный «маяк», который сначала привёл охотника к нему, а потом едва не добил его собственной истерикой.

Андрей сунул колокольчик обратно, ощущая холод металла сквозь кожу. Он знал, что Лютый не отступит. Что Малюта, если узнает, лишь пожмёт плечами — в его глазах это был просто естественный отбор среди его инструментов.

Но теперь он знал и другое: его новая «собака» — этот колокольчик — чует не только древнюю нечисть. Она чует предательство. И, возможно, она чует и саму Опричнину.

Его путь вёл не просто к выполнению приказов. Он вёл к расследованию. Кто такие эти «алхимики»? Кто и зачем создаёт этих тварей? И как глубоко это всё проникло в саму систему, которой он служит?

Ветер донёс с площади отдалённый, затихающий вой. Тварь добивали. Или она добивала кого-то сама.

Андрей поднялся и растворился в ночи, оставив за спиной и вой, и войну. У него теперь была своя. Тихая. И смертельная.

Глава 6. Архивариус

Три дня он не выходил из берлоги. Три дня колокольчик лежал на грубой лавке, завернутый в кожу, и молчал. Трещины на его боку не росли, но и не исчезали, словно шрамы. Андрей чистил саблю, ел вяленое мясо и слушал. Слушал гул слободы, крики на плацу, скрип полозьев. Ждал, что дверь выбьют — то ли люди Малюты с вопросами о провале в Кривом переулке, то ли Лютый, чтобы добить начатое.

Но дверь оставалась запертой. Система, видимо, переваривала инцидент по-своему. Лютый, должно быть, доложил свою версию: «столкнулся с аномалией, пытался ликвидировать, опричник Андрей помешал, аномалия скрылась». Такая ложь была удобна всем: Малюту получал данные о новой угрозе, Лютый сохранял лицо, а Андрей оставался козлом отпущения, на которого можно списать неудачу. Жив, и то хорошо.

На четвертый день колокольчик позвонил. Один раз. Коротко, сухо, будто кашель. Звук был не тревожным, а указательным. Андрей почувствовал легкий, едва уловимый тремор в пальцах, державших его. Не страх. Направление.

Он вышел в сумерках, завернув лицо в высокий воротник шубы, без опричных знаков. Пустой пояс под полой был его новой униформой. Он шёл, не направляясь куда-то специально, но ноги сами несли его в сторону Государева двора, вернее, к его задворкам — к длинному, низкому амбару с железной дверью. Царский архив. Вернее, его задняя, неухоженная часть, куда свозили всякий хлам: старые летописи, испорченные иконы, конфискованные у еретиков книги, которые жгли не сразу, а «для изучения».

У амбара, прислонившись к стене, курил корешок какой-то травы тощий, лысый старик в засаленном подряснике поверх тулупа. Силуян. Архивариус, или, как его звали, «крыса книжная». Он знал каждую пахнущую плесенью грамоту, каждый подозрительный клочок пергамента в этой гряде. И, что важнее, он знал, о чём в этих бумагах не написано.

Андрей подошёл, остановившись в двух шагах. Силуян не поднял глаз, выпустив струйку едкого дыма.

— Чего надо, пес царёв? — проскрипел он. — Здесь тебе не рыскать. Книги не пахнут изменой. Только пылью.

— Не за изменой, — тихо сказал Андрей. — За знанием.

Старик наконец посмотрел на него. Глаза были мутные, но в глубине, как на дне старого колодца, мерцал острый, живой ум.

— Знание — тоже ересь, — заметил Силуян. — Особенно то, что ты ищешь. От запаха на тебе... не только собачий дух. Пахнешь тинной и старым железом. Пахнешь тем, что под землей.

Андрей не стал отрицать. Он медленно достал из-за пазухи колокольчик, не разворачивая, просто дал ему зазвенеть сквозь ткань. Один раз. Коротко.

Глаза Силуяна расширились. Он отшатнулся от стены, корешок выпал из его пальцев.

— Чёртовы колокола... — прошептал он, крестясь. — Откуда у тебя? Это ж... пробуждение.

— Что пробуждает? — шагнул вперёд Андрей, заслоняя старика от улицы.

Силуян оглянулся, его взгляд метнулся по пустому задворку, потом он кивком головы указал на железную дверь. — Внутри. Только тихо. И... спрячь эту дрянь.

Внутри амбара царил царственный хаос. Горы книг, свитков, ящичков поднимались до потолка, образуя узкие каньоны. Пахло пылью, грибком, тлением и ещё чем-то — слабым, но устойчивым запахом сушеных трав и металлической окиси. Алхимическая лаборатория крысы.

Силуян провёл его в дальний угол, заваленный ветхими церковными книгами с вырванными страницами. Достал из-под груды потрёпанный кожаный фолиант без титула. Перелистнул страницы, испещренные не кириллицей, а странными, угловатыми символами, смешанными с рисунками.

— Смотри, — тыкнул он грязным ногтем в схему. На ней был изображён колокол, опутанный корнями, уходящими в землю. Вокруг — те же знаки, что он видел в кузне. — Это не наше. Не христианское. Это язык земли. Старее Рюрика. Старее всех наших богов. Ей, земле-то, поклонялись не славяне, а те, кто был до них. Кто слышал её голос.

— И что она говорит? — спросил Андрей, чувствуя, как колокольчик в его кармане отзывается лёгкой вибрацией на эти слова.

— Говорит, что голодна, — хрипло прошептал Силуян. — Что спала долго. А теперь... её будят.

— Кто будит?

— Дураки, — старик фыркнул. — Одни — вроде твоего кузнеца — ищут силу, тычут палкой в спящего медведя. Другие... — он посмотрел на Андрея пристально, — другие знают, что делают. Используют старые ритуалы, смешивают их с новой верой, с железом, с кровью... чтобы создать нечто послушное. Новых псов. Но не из плоти. Из тени, из металла, из самого страха.

Новых псов. Слова повисли в воздухе. Андрей вспомнил тварь из Кривого переулка. Её неестественные движения, хитиновые когти. Это не древнее зло, вырвавшееся на волю. Это было сделано. Сконструировано.

— Кто? — односложно бросил он.

Силуян нервно облизал губы.

— Там, наверху, — он мотнул головой в сторону царских палат, — думают, что они держат этих псов на цепи. Что Опричнина — их оружие. А что, если оружие уже научилось думать само? Что, если некоторые из твоих... братьев... зашли дальше собачьих голов? Ищут способ создать не просто символ, а настоящих стражей. Беспощадных. Бессмертных. Иммунированных к страху, потому что они сами — страх.

Мысль была чудовищной, но она ложилась на реальность. На Малюту, холодно изучающего аномалии. На Лютого, стреляющего в него дротиком, чтобы не мешал «охоте». Они не просто уничтожали ересь. Они экспементировали с ней.

— Где искать таких? — спросил Андрей, уже зная, что ответа не будет.

— Не ищи. Они найдут сами, — Силуян резко захлопнул книгу. — Ты теперь метка. Эта штука, — он кивнул на его карман, — она не только зовёт. Она отмечает. Как клеймо на овце для волка. Ты стал частью их... поля. Они видят тебя в темноте.

На улице послышались шаги. Тяжёлые, мерные. Не один человек. Опричники.

Силуян мгновенно преобразился. Его испуганная мудрость сменилась маской пьяной, старческой глупости.

— Вон отсюда, пес! — закричал он, спотыкаясь и размахивая руками. — Не оскверняй святыни! Убирайся в свою слободу!

Дверь амбара распахнулась. На пороге стояли двое опричников. Не Лютый. Но их взгляды были такими же пустыми и оценивающими. Они смотрели на Андрея, потом на старика.

— Архивариус, всё в порядке? — спросил один, но вопрос был адресован Андрею.

— Всё в порядке, — глухо ответил Андрей, отходя к выходу. — Собирал сведения.

— По какому делу? — голос второго стал жестче.

Андрей остановился, повернувшись к ним. В его кармане колокольчик дёрнулся, но не зазвенел. Просто замер, будто затаился.

— По делу о крамоле в Скородомье, — сказал он ровно. — Искал корни. Здесь их нет.

Он прошёл между ними, чувствуя на спине их взгляды. Шаги не последовали за ним. Но он знал — его визит отметили. Доложили.

Возвращаясь в слободу уже в полной темноте, он понимал, что перешёл новую черту. Он не просто выживал. Он копал. И теперь те, кто копает в том же мрачном карьере, знают о нём. Малюта. Лютый. Возможно, кто-то ещё.

В его берлоге на столе лежал свиток. Не опричный приказ. Просто грязный клочок бумаги, подсунутый, видимо, через щель в двери. На нём было нацарапано одно слово, корявым, торопливым почерком:

«БЕГИ»

Андрей скомкал бумагу и бросил в печь. Пламя жадно лизнуло её, обратив в пепел.

Бежать было некуда. Да и колокольчик, холодный ком в кармане, теперь был частью его. Он не отпустит. Он только позвонит, когда придет время.

А время, он чувствовал, приближалось. Время большой, немой охоты, где он был и охотником, и дичью, и приманкой одновременно.

Глава 7. Ничья земля

Приказ пришёл с первым снегом. Не через мальчишку. Его лично принёс Лютый.

Дверь берлоги распахнулась без стука. Он стоял на пороге, заслоня бледное утро, в полном опричном облачении. Собачья голова на его поясе была свежей, сырой, с ободранной кожей и мутной плёнкой на глазах. Она смотрела прямо на Андрея, и её оскал казался шире, чем должен был.

— Встал, — бросил Лютый. В его голосе не было ни злорадства, ни угрозы. Был холодный, административный тон. Как будто в Кривом переулке ничего не случилось. — Приказ от Малюты. Немедленно.

Андрей медленно поднялся с лавки, не сводя глаз с гостя. Рука лежала на эфесе сабли, не скрывая жеста.

— Говори.

— Поселение Заболотье, — отчеканил Лютый, бросая на стол скрученный кожаный свиток с восковой печатью. — За рекой. Полторы версты от посада. Месяц назад все жители вымерли. Не от мора. От страха. — Он сделал паузу, давая словам осесть. — А теперь там поют.

Андрей не отреагировал. Ждал подвоха.

— Поют старые песни. Колыбельные. На языке, которого никто не знает. Голоса — детские. — Лютый склонил голову набок, копируя жесть своего трофея. — Малюта считает, твой новый «звонок» может... найти источник. Или отозваться. Идешь один. Наблюдай. Докладывай. Не вступай в контакт.

Он повернулся, чтобы уйти, но на пороге обернулся.

— И, Андрей... — его губы растянулись в чём-то, напоминающем улыбку. — Береги свою игрушку. Таких... мало. И они легко бьются. — Его взгляд упал на карман Андрея, где лежал колокольчик. Потом он вышел, хлопнув дверью.

Это была ловушка. Очевидная, как кол в снегу. Но приказ был. Отказ — смерть. Пойти — смерть, возможно, более интересная.

Заболотье. Название говорило само за себя. Топь, гниль, забвение. Идеальное место, чтобы что-то потерять. Или кого-то.

Перед выходом Андрей развернул колокольчик. Трещины были на месте. Он прикоснулся к нему. Молчание. Глухое, тяжёлое. Как будто артефакт спал или притворялся мёртвым. Это беспокоило больше истеричного звона.

Дорога до Заболотья была пыткой. Замёрзшее болото чавкало под ногами, чёрные, голые деревья тянули к нему скрюченные ветви, как пальцы утопленников. Воздух был чист, но в этой чистоте чувствовалась пустота. Не было птиц. Не было ветра. Было лишь густое, давящее безмолвие.

И тогда он услышал пение.

Сначала еле уловимо, будто из-под земли. Потом чуть громче. Действительно детские голоса. Чистые, высокие. Они пели незнакомую мелодию, растягивая гласные, делая странные горловые звуки. В этом была жуткая, нечеловеческая красота. Красота ледяного узора на стекле, за которым — пустота.

Колокольчик в кармане вздрогнул. Не зазвенел. Будто вздохнул. И стал теплеть. От лёгкого холода перешёл к температуре тела, а потом стал горячим, почти обжигающим.

Андрей остановился на краху деревни. Избы стояли покосившиеся, двери распахнуты. На снегу не было следов — ни человеческих, ни звериных. Словно жизнь здесь не ушла, а испарилась.

Пение лилось из самой середины поселения, из самой крупной, некогда зажиточной избы с резными наличниками. Теперь наличники были покрыты инеем странного, синеватого оттенка.

Он подошёл к открытой двери. Внутри царил полумрак. Пение было уже громким, окружающим, будто исходило не из одной точки, а из всех стен сразу.

— Есть кто? — крикнул Андрей, заглушая дрожь в голосе.

Пение смолкло. Резко, как обрезанное.

Тишина, наступившая после, была хуже любого шума. Колокольчик в кармане пылал. Андрей вынул его. Металл был таким горячим, что жег кожу. Трещины на нём светились тусклым, синеватым светом, точно таким же, как иней на наличниках.

И тогда он понял. Это не ловушка Лютого. Это приглашение. Не его звали. Звали колокольчик.

Из глубины избы что-то пошевелилось. Не тень. Не существо. Что-то большое, занимавшее полгорницы, завёрнутое в грубый холст. Холст медленно сполз, и Андрей увидел.

Это был колокол. Не церковный. Небольшой, литой из тёмного, пористого металла, покрытого той же синей наледью. Его поверхность была испещрена теми же знаками, что и его маленький колокольчик, но в большем масштабе. И на его боку, чётко и ясно, отливала темным серебром та же собачья голова.

Из-под края колокола, на пол, вытекала лужица. Не воды. Что-то густого, тёмного, почти чёрного, что парило легким сизым дымком.

Корень. Источник. Мать его колокольчика.

Из-за его спины раздался голос. Тихий, насмешливый, знакомый.
— Красиво, да? Нашёл родственника.

Андрей обернулся. В дверном проёме, блокируя выход, стоял Лютый. Но не один. За его спиной, в полумраке сеней, маячили ещё две фигуры в опричных шубах. Их собачьи головы на поясах дымились лёгким, едким паром. И их глаза — не трофеев, а самих опричников — светились тем же тусклым, голодным желтым огнём, что когда-то горел в его собственном трофее.

— Мы называем это «Ульем», — сказал Лютый, делая шаг вперёд. Его голова была уже не просто трофеем. Она поворачивалась, следуя за движением Андрея, её челюсти слабо пошевелились. — Он... питается. Страхом, смертью, тишиной заброшенных мест. А потом рождает это. — Он кивнул на колокольчик в руке Андрея. — Обломки. Отзвуки. Маячки, которые ведут нас к новым местам силы. К новым Ульям. Твой кузнец был неудачником — нашёл обломок и не смог им управлять. А ты... ты принёс его нам обратно. Спасибо.

Андрей сжал раскалённый колокольчик так, что боль пронзила всю руку.
— Малюта знает?

Лютый усмехнулся.

— Малюта... думает, что управляет процессом. Он собирает данные. А мы... мы собираем урожай. — Он вынул из-за пояса тот же изогнутый арбалет. На нём был уже заряжен толстый дротик с наконечником из чёрного, неправильной формы камня. — Твой «маячок» перегружен. Он сейчас лопнет. И когда он лопнет... его энергия вольётся в Улей. Он станет сильнее. А ты... ты станешь удобрением. Как все они. — Он кивнул на пустые избы.

Двое других опричников разошлись по сторонам, отрезая пути к окнам. Их движения были плавными, синхронными, не совсем человеческими. Их «псы» на поясах тихо повизгивали.

Андрей оказался в ловушке. Между Ульем, жаждущим его колокольчика, и тремя опричниками, которые уже были больше, чем люди. Его сабля была бесполезна против этого.

И тогда он посмотрел на раскалённый, трещащий колокольчик в своей руке. На светящиеся синим трещины. Он понял, что Лютый прав. Он вот-вот лопнет. Но, может быть, не так, как они планируют.

Он разжал пальцы. Колокольчик лежал на его ладони, крошечный, перегретый кусок рока. Он посмотрел на большой колокол-Улей. На знак собачьей головы.

— Хочешь? — прошептал он. — На, пожри.

И он изо всех сил швырнул колокольчик не в Лютого, а в сторону Уля, прямо в ту самую лужу тёмной субстанции.

Все произошло мгновенно.

Колокольчик, коснувшись чёрной лужи, вспыхнул ослепительным синим пламенем. Раздался звук — не звон, а глухой, сокрушительный удар, будто лопнул пузырь с давлением всего мира.

Улей загудел. Низко, яростно, болезненно. Синий иней на нём пополз, превращаясь в трещины. Из трещин хлынул не свет, а абсолютная, всасывающая тьма и тот же леденящий холод.

Лютый вскрикнул — не от страха, от ярости. — Нет! Глупец! Ты...

Но его слова потонули в вой. Вой исходил от собачьих голов на поясах всех троих опричников. Головы ожили, завyli, затряслись, вырываясь из ремней. Жёлтый огонь в их глазах погас, сменившись тем же синим свечением, что и в трещинах Улья.

Опричники замерли, скрючившись, хватая себя за головы. Их связь с трофеями была их силой. Теперь эта связь стала ахиллесовой пятой. Улей, раненый, тянул их к себе, пытаясь восполнить потерю.

Андрей не стал ждать. Пока тьма и холод начинали заполнять избу, пока Лютый бился в конвульсиях, он рванулся не к двери, которую теснила одна из корчащихся фигур, а к окну. Прыгнул, закрыв лицо рукавом, прошибая раму с подгнившими ставнями.

Он упал в сугроб, откатился, вскочил. Оглянулся.

Изда с Ульем была окутана клубящимся синим туманом. Из неё доносились хрипы, звуки падения тел и всё тот же низкий, гудящий стон раненого колосса.

Андрей побежал. Бежал, не оглядываясь, по замёрзшему болоту, чувствуя, как холод из той избы преследует его по пятам, пытаясь схватить за пятки.

Он сбежал. Но он знал, что оставил там не просто колокольчик. Он оставил бомбу замедленного действия. И разгневанного, раненого Лютого, который теперь знал, что его секрет раскрыт.

А главное — он теперь знал сам. Опричина была не просто карающим мечом. Она была инкубатором. И некоторые цыплята начали вылупляться раньше времени, готовые клевать руку кормящего.

Он бежал в сторону Москвы, в сторону слободы. Но куда бежать, когда логово врага — это твой же дом?

В кармане, где раньше лежал колокольчик, была лишь обожжённая дыра да лёгкое, не проходящее онемение кожи. Маяк погас. Но тьма, которую он осветил, уже никуда не денется.

Глава 8. Обратный след

Он не пошёл в слободу. Он пошёл к реке. К обрывистому, подмытому весенними паводками берегу, где среди коряг и льда можно было стать невидимкой. Здесь, дрожа не столько от холода, сколько от адреналиновой лихорадки, он оценивал ущерб.

Физический: обожжённая ладонь, порванная шуба, пустой пояс.

Метафизический: пустой карман, где раньше жил звон. И знание, которое жгло изнутри сильнее любого Уля.

Возвращаться было нельзя. Лютый, даже раненый, уже опередил его. В слободе наверняка ждут: или чтобы добить, или чтобы арестовать за «порчу государева имущества» и «сношения с нечистой силой». Малюта... Малюта был дикой картой. Он мог увидеть в этом интересный эксперимент, а мог увидеть угрозу своему контролю. Ставка на него была смертельной.

Оставался один путь. Вперёд. В самое логово. Не в слободу. К Силуяну.

Он дождался глухой, предрассветной поры, когда даже опричники-часовые клевали носом у своих постов. Он знал задворки, знал собачьи тропы. Он прокрадывался, как тень, которую он сам когда-то отбрасывал, — не чуящая, а чужая.

Архивный амбар стоял в глубокой тени. Дверь была приоткрыта. Плохой знак. Андрей замер, прижавшись к стене. Ни звука. Только запах — старой бумаги, плесени и... свежей крови. Терпкой, медной.

Он вписался в проём, сабля наготове.

Внутри царил хаос. Стеллажи опрокинуты, книги разбросаны, как перья после резни. В центре этого крушения, прислонившись к единственному уцелевшему шкафу, сидел Силуян. Его тулуп был тёмным от крови, сочившейся из множества мелких, аккуратных ран — не от сабли, от чего-то колющего и узкого. Его лицо было бледным, но глаза, встретившие Андрея, горели лихорадочным блеском.

— Опоздал, пёс... — выдохнул старик, и из угла рта выкатилась алая пузырящаяся струйка. — Они были... быстрые. Тихие... Чистые. Не твои братья с собачьими головами... Другие...

— Какие другие? — Андрей опустил перед ним на корточки, бессильный помочь.

— Без... голов... — Силуян кашлянул. — В чёрном... Лица скрыты. Двигутся... как одно. Ищут... книгу. Ту самую... — Он слабо мотнул головой в сторону развороченного угла. — Не нашли. Сожгли... всё подряд... Пытали... спрашивали про тебя... Про колокольчик...

Андрей сжал кулаки. Новые игроки. Ещё одна фракция. Опричники-чистильщики? Или... те, кто стоит над Малютой и Лютым?

— Кто они? — прижался он.

— Цепные псы... тех, кто держит цепь... — Силуян сделал страшный усилием, сунул окровавленную руку за пазуху, вытащил не книгу, а маленький, плоский камень с выцарапанным на нём тем же знаком собачьей головы, но перечёркнутой прямой линией. — Бери... Это... ключ. Не от двери... От понимания... Они помечают так места... где «Улей»... опасно болен... или вышел из-под контроля...

Камень был холодным и гладким.

— Что мне с ним делать?

— Иди... туда, откуда... всё пошло... — Силуян закрыл глаза, силы покидали его. — Слобода... но не твоя... Старая кузница... за конюшнями... там, где земля... не принимает трупы... Они начали там... в самое первое время... когда опричнина... была ещё идеей... а не монстром...

Старик затих. Дыхание стало прерывистым, пузырящимся.

— Кто «они»? — отчаянно спросил Андрей, тряся его за плечо. — Назови имя!

Силуян открыл глаза в последний раз. В них не было страха. Была горькая ирония.

— Имя?... У монстра... много имён... Но одно... он слышал... в ту ночь... — Он собрал последние силы, и его шёпот стал чуть слышнее: — «Басманов»...

Голова старика бессильно откинулась. Архивариус, хранитель запретных знаний, был мёртв.

Андрей замер, сжимая в одной руке камень-ключ, в другой — эфес сабли. Басманов. Алексей Данилович Басманов. Один из основателей опричнины. Правая рука царя. Человек-легенда. Человек-кошмар. Если корни этой ереси уходят к нему...

Он быстро обыскал тело, нашёл в потаённом кармане ещё один клочок — карту слободы, на которой у конюшен была помечена та самая старая кузница. На обороте — несколько строк, выведенных дрожащей рукой: «Земля там горькая. Вода не держится. Сны, пришедшие оттуда, не забываются. Они первые принесли чёрный камень из-под фундамента. Назвали его «краеугольным». Он пел. Они слушали.»

Время кончалось. Убийцы могли вернуться. Он сунул карту и камень за пазуху, бросил последний взгляд на тело Силуяна. «Крыса книжная» нашёл свой конец среди своих сокровищ. Более подходящей смерти для него не было.

Андрей вышел из амбара, растворившись в серой предрассветной мгле. Он шёл не как беглец, а как охотник, вышедший на след самого крупного зверя. Его путь лежал не за пределы Москвы, а в её самое чрево — в ту часть опричной слободы, о которой не говорили. В первую кузницу.

Обойдя пьяных часовых, он нашёл её. Небольшое, почти полностью вросшее в землю строение из почерневших брёвен. Дверь была заперта не на засов, а на массивный железный замок, покрытый слоями ржавчины и того самого синеватого инея. Земля вокруг действительно была странной — рыхлой, сыпучей, словно пепел. Ни травинки.

Он приложил камень-ключ, вынутый у Силуяна, к центру замка. Камень прилип к металлу с тихим щелчком. Ржавчина вокруг него начала шевелиться, стекать, как жидкая грязь, обнажая чистый, тёмный металл под ней. Замок вздохнул и отскочил.

Внутри пахло временем, железом и сладковатой, знакомой горечью — запахом Улья, но более приглушённым, законсервированным.

Здесь не было большого колокола. Здесь, в центре помещения, стояла наковальня из того же чёрного, пористого камня. А вокруг — на полках, в ящиках — лежали заготовки. Десятки, сотни маленьких, недоделанных колокольчиков, собачьих голов, странных амулетов со знаком. Это был склад запчастей. Инкубатор в зачаточном состоянии.

На стене висел пергамент, испещрённый тем же угловатым письмом. И подпись — не имя, а печать. Оттиск, который он видел лишь раз в жизни — на указе о создании опричнины. Печать Алексея Басманова.

И тут он услышал. Не пение. Шёпот. Исходивший не из одного источника, а из всех этих незавершённых артефактов сразу. Тысяча крошечных, безголосых шёпотов, сливающихся в один леденящий поток:

...основа... камень... голод... слышит... царь... не знает... мы... корни... мы... фунда-
мент... вечный... ужас...

Это была не ересь. Это была доктрина. Первоначальный, тайный устав опричнины, скрытый даже от царя. Они не просто карали измену. Они возвращали ужас как урожай. И питали им что-то, что лежало в самом основании.

Андрей подошёл к наковальне. Под ней, в полу, зияло отверстие. Не яма. Шахта. Уходящая вниз в кромешную тьму. Из неё веяло тем же холодом, что и из Улья. И запахом... запахом мокрого камня, древней глины и чего-то неслыханно старого.

Это и было начало. То, с чего всё пошло. Краеугольный камень, который пел.

Шаги снаружи. Не один. Не двое. Много. Тяжёлые, мерные. Раздался скрип — это снимали тело Силуяна. Потом шаги направились к кузнице.

Они нашли его след. Цепные псы Басманова.

Андрей посмотрел на шахту. На тьму внизу. Наверх — к верной смерти или к плену, после которого смерть покажется милостью. Вниз — в неизвестность, возможно, ещё более страшную.

Он услышал, как снаружи щёлкнул тот же замок. Его камень-ключ был у него. Значит, у них был свой.

Он не стал выбирать. Выбор сделал за него.

Он втянул в лёгкие полную грудь спёртого воздуха, запаха древнего ужаса, и шагнул в шахту. В темноту, из которой, возможно, не было возврата.

Последнее, что он увидел, глядя наверх, на светлевший прямоугольник двери, было несколько силуэтов в чисто чёрном, без опричных нашивок, без собачьих голов. Их лица скрывали глухие капюшоны. Они молча смотрели вниз, на него. Не торопясь. Как будто знали, что он никуда не денется.

Потом один из них жестом приказал. Кто-то начал закатывать на место тяжёлую каменную плиту — крышку шахты.

Свет сузился в щель. Потом исчез совсем.

Андрей падал. Не в пустоту. В прошлое. В самый корень кошмара, имя которому — Опричина.

Глава 9. Краеугольный камень

Падение длилось недолго. Он рухнул на что-то мягкое, податливое, но холодное, как трупная плоть. Грибница. Толстый, переплетённый ковер из бледных, лишённых света корней или жил, покрывавший дно шахты. Они затрещали под ним, выпуская в воздух споры пыли и запах — сладкой гнили и остывшего пепла.

Тьма была абсолютной. Гуще, чем в самой глухой ночи. Она давила на глаза, на кожу, на слух, поглощая любой звук. Он лежал, отдышываясь, ощущая холодную влагу через порванную шубу.

Потом, постепенно, его зрение начало улавливать свечение. Не свет в привычном смысле. Фосфоресценцию. Исходившую от самой грибницы, от стен шахты. Тусклое, зелёно-синее мерцание, вырисовывавшее контуры пещеры. Она была не природной. Стены были сложены из того же чёрного, пористого камня, что и наковальня наверху. Камни были подогнаны друг к другу с дикой, неестественной точностью, без раствора. Это было строение. Очень старое.

Он поднялся. В кармане — камень-ключ, на поясе — сабля. Всё имущество. Он пошёл по единственному возможному пути — низкому, сырому туннелю, уходящему вглубь. Грибница на полу пульсировала слабым светом в такт его шагам, будто живая.

Туннель вёл вниз. С каждым шагом воздух становился тяжелее, насыщеннее тем запахом древней глины и камня. И ещё чем-то... металлическим, но не железным. Как медь, но холодная, мёртвая.

Он вышел в залу.

Его дыхание застряло в горле.

Это была не пещера. Это был склеп. Или храм. Огромное подземное пространство, своды которого терялись в синеватом свечении, струившемся с потолка, словно с неба полярной ночью. В центре залы, на гигантском, грубо отёсанном постаменте, лежал Камень.

Не просто валун. Это была глыба чёрного, почти прозрачного минерала, испещрённая изнутри миллионами мерцающих прожилок, как застывшая молния. Он был размером с избу. И от него исходило то самое металлическое ощущение. Это был источник. Краеугольный Камень.

А вокруг Камня, рядами, стояли фигуры. Не статуи. Не скелеты. Они.

Опричники. Самые первые. Их доспехи и шубы истлели, обнажив почерневшие, мумифицированные тела, стянутые на костях как пергамент. Но на их головах были не шлемы. Собачьи головы. Настоящие. Не высушенные трофеи, а приросшие, сросшиеся с шеей, с черепом, ставшие частью скелета. Пустые глазницы этих сросшихся трофеев смотрели в одну точку — на Камень. Они стояли в почётном карауле. Первые Стражи. Первые, кто заключил сделку.

На стенах, вокруг, были изображения. Выцарапанные на камне, подкрашенные какой-то тёмной, почти чёрной краской. Прimitивные, но ясные. Люди, приносящие страх (изображённый как клубящаяся туча) к подножию Камня. Камень, поглощающий этот страх. И из него рождающиеся... тени с очертаниями псов. Симбиоз был не случайностью. Он был ритуалом. Первопричиной.

Андрей подошёл ближе. У подножия Камня, на небольшом алтаре, лежала книга. Толстый фолиант в коже, которая казалась человеческой. Рядом — перо и чернильница, чернила в которой ещё не высохли, а медленно пульсировали, как живая кровь.

Он открыл книгу. Письмена были знакомы — тот же угловатый язык земли. Но здесь они перемежались с кириллицей, с пометками, с отчётами. Это был журнал. Дневник Басманова.

«...как и поведал голос из Камня, основали братство. Царь Иван верит, что это меч в его руке. Не ведает, что меч сей жив и питается его же страхом перед изменой...»

«...первые опыты с присягнувшими. Камень благословил слияние. Голова пса становится не символом, а органом. Чувствует ложь за версту. Чует страх как сладчайший мёд...»

«...избыток страха, сброшенный в местах казней, стал кристаллизоваться. Назвали «Ульями». Они растут. Рожают обломки-маяки. Система питает сама себя...»

«...Царь стареет. Страх его становится иррациональным. Камень пьёт жадно. Мы крепчаем. Скоро опричнина перестанет быть нужна царю. Она станет самодостаточной. Вечным порядком страха...»

«...Лютый, молодой, жаден. Видит в Ульях оружие. Не понимает, что оружие — это мы все. Малюта умён, изучает, но боится Камня. Боится правильно. Он контролёр, не жрец...»

«...появилась угроза. Один из стражей, Андрей, носитель маяка... маяк уничтожен, но страж видел. Видел слишком много. Его нужно вернуть к Камню. Или принести в жертву, дабы утолить гнев...»

И последняя запись, свежая, будто вчерашняя:

«...цепные псы выпущены. Крыса книжная ликвидирована. Страж в ловушке. Привести его ко мне. Камень хочет его голоса. Его сомнений. Его страха перед нами. Это редкая пряность...»

Так вот зачем. Он был не просто угрозой, которую нужно устранить. Он был деликатесом для этого древнего, голодного разума в камне.

— Понравилось чтение? — раздался голос сзади.

Андрей обернулся, хватаясь за саблю.

На входе в залу стояли они. Цепные псы. Четверо. Их чёрные одеяния сливались с тьмой, только бледные, лишённые выражения лица были видны в мерцающем свете Камня. Они не держали оружия на виду. Они были оружием.

— Алексей Данилович ждёт, — сказал тот, что стоял впереди. Его голос был ровным, без эмоций, как чтение протокола.

— Здесь? — хрипло спросил Андрей.

— Он везде, где есть Камень, — ответил другой. — И Камень — везде, где посеяна его воля.

Из тени за алтарём вышел он. Не призрак. Плотный, широкоплечий старик в простом, но богатом тёмном кафтане. Лицо, изборождённое шрамами власти и жестокости, было спокойно. Глаза — цвета старого льда — смотрели на Андрея не со злобой, а с любопытством коллекционера.

Алексей Басманов. Легенда при жизни.

— Андрей, — произнёс Басманов, и его голус был тихим, но заполнил всю залу, как гул подземных вод. — Ты прошёл долгий путь. От слепого пса... до того, кто тычется мордой в дверь псарни. Вызываю уважение.

— Ваша псарня воняет падалью и безумием, — бросил Андрей, чувствуя, как его собственная тень на стене от Камня дёргается, пытаясь принять чужие очертания.

Басманов усмехнулся.

— Падаль — это то, что остаётся наверху. Государство, бояре, сама Русь... они гниют и смердят. А мы... мы корни. Мы вечны. Мы питаемся их гниением и становимся сильнее.

— Вы питаетесь страхом. Выращиваете чудовищ.

— Порядок, — поправил Басманов. — Абсолютный, неоспоримый порядок, основанный на одном-единственном законе: бойся. Бойся говорить. Бойся думать. Бойся даже дышать не так. Это и есть идеальное государство. И Камень... он даёт нам инструменты для его построения.

Он сделал шаг вперёд, к Камню. Положил на него ладонь. Мерцающие прожилки внутри вспыхнули ярче, и по зале пронёсся тихий, вибрирующий голодный стон.

— Он древний. Он был здесь, когда никакой Москвы не было. Он помнит страх первых людей перед тьмой. И он хочет больше. Мы даём ему больше. А он даёт нам... видение. Силу. Бессмертие в служении. — Басманов повернулся к Андрею. — Лютый — дитя, он играет с Ульями, как с куклами. Малюта — учёный, он боится сути. А ты... ты почувствовал суть. Испытал её на себе. Камень хочет этот опыт. Отдай его. Присягни. И ты станешь не пешкой, а стражем у истока. Как они. — Он кивнул на мумии первых опричников.

Андрей посмотрел на эти ряды сросшихся тел. На их вечный, мёртвый караул. Это было не бессмертие. Это была вечная служба. Рабство, растянутое на века.

— Нет, — просто сказал он.

Басманов вздохнул, разочарованно.

— Жаль. Тогда мы возьмём это силой. Твой страх в последние мгновения будет особенно... концентрированным.

Он отступил назад. Цепные псы двинулись вперёд. Их движения были идеально синхронизированными, будто у них была одна воля на всех.

Андрей отскочил к алтарю, за его спиной был только холодный, пульсирующий Камень. Пути к отступлению не было.

Первый из Псов ринулся. Андрей выхватил саблю. Чёрный клинок взвыл, встречая не сталь, а коготь из того же чёрного камня, выросший из рукава Пса. Удар отбросил его к самому Камню. Холод проник сквозь одежду, сквозь кожу, в самые кости.

Он бился отчаянно, но они были слишком быстры, слишком связаны друг с другом. Их атаки приходили со всех сторон. Один удар камня-когтя прошёл по плечу, разорвав шубу и кожу. Боль была острой, неестественной, будто рана тут же начинала неметь и чернеть.

Он отбивался, отступая, пока его спина не упёрлась в ледяную поверхность Камня. Псы образовали полукруг, отрезая его. Басманов наблюдал с холодным интересом.

И в этот момент, когда отчаяние и ярость достигли пика, Андрей крикнул. Не слово. Звук. Глухой, рвущийся из самой глотки вопль всего накопленного ужаса, гнева, отвращения.

И Камень отозвался.

Мерцающие прожилки внутри него вспыхнули ослепительно-синим. Весь склеп затрясся. Первые Стражи-мумии закачались на своих постаментах. Цепные Псы замерли на мгновение, их бесстрастные лица исказила боль.

Камень втянул в себя его крик. Втянул и... усилил. Из его поверхности вырвалась тень. Не его тень. Тень, повторяющая его позу, его ярость, но увеличенная вдесятеро, бесформенная и всеколлапсирующая. Она пронеслась по зале, сметая Псов, как кегли. Они падали с тихими, хрустящими звуками.

Басманов вскрикнул — впервые голосом, полным не расчёта, а живого страха. — Нет! Не можешь! Он не твой!

Но Камень игнорировал его. Он отведал нового вкуса — не просто страха жертвы, а ярости загнанного зверя, смешанной с отчаянием. Это было сильнее, острее. Это пьянило.

Тень, вызванная Андреем, схлынула обратно в Камень, оставив после себя тишину и поверженных Псов. Басманов, бледный, отступал к выходу.

Андрей стоял, прислонясь к Камню, чувствуя, как его собственная ярость и боль циркулируют в нём, питая его. Камень не хотел его подчинить. Он хотел подпитки. И Андрей только что дал ему глоток такой силы, перед которой меркли ритуалы Басманова.

Он посмотрел на основателя опричнины. И понял. Басманов не хозяин Камня. Он — старший слуга. И Камень только что показал, что может сменить фаворита.

— Убирайся, — прохрипел Андрей, и его голос звучал странно, с низким, каменным эхом. — И передай Малюте и Лютому... Их хозяин сыт по-новому. И ему может наскучить старое меню.

Басманов, не сказав больше ни слова, скрылся в туннеле. Его Псы, с трудом поднимаясь, поползли за ним.

Андрей остался один в сияющей зале, лицом к лицу с древним Камнем, который теперь тихо гудел внутри, переваривая поданное ему угощение. Он был в пасти чудовища. Но, возможно, впервые за всю историю этого чудовища, в его пасти оказался не жертвенный агнец.

А зуб.

Глава 10. Псарь

Он не стал пытаться разбить Камень. Это было всё равно, что пытаться саблей убить гору. Он не стал с ним говорить — голоса, шептавшие изнутри, предлагали силу, знание, месть, но каждое предложение было крючком, обёрнутым в шёлк вечности.

Андрей просто сел. На холодный пол склепа, спиной к пульсирующей глыбе. Он закрыл глаза и перестал бороться. Перестал думать о выживании, о мести, о смысле. Он позволил усталости, боли, тому дикому клубку ярости и отчаяния, который он только что выплюнул, растечься по нему. Он стал пустым сосудом, наполненным лишь осадком того, через что прошёл: смерть старика-боярина, холодный ужас кузницы, предательство Лютого, молчаливое наблюдение Малюты, кровь Силуяна, безумие Басманова.

И Камень потянулся к этому.

Мерцание прожилок замедлилось, стало ритмичным, как дыхание. Холодный металлический гул сменился низким, почти воркующим звуком. Камень пил. Не крик, не всплеск. Он пил тихое отчаяние, глухую, безвыходную усталость от кошмара, ставшего реальностью. Это был новый, изысканный вкус. Наркотик.

Андрей чувствовал, как что-то выходит из него. Не душа. Шлак. Окаменевший страх, застывшая ярость. Они стекали с него, как грязь, и впитывались холодной поверхностью Камня. На его месте внутри оставалась... пустота. Чистая, ледяная, безмысленная пустота. И в этой пустоте начало прорасти нечто новое. Не чувство. Знание.

Он понял связь. Тонкие, невидимые нити, тянущиеся от Камня вверх. К каждому Улью. К каждой собачьей голове, сросшейся с опричником. К Лютому, чья связь была яркой и неровной, как воспалённый нерв. К Малюте — тонкая, почти незаметная нить наблюдателя, который боится прикоснуться, но не может отвернуться. И толстый, старый канат, уходящий к Басманову. Сеть. Паутина страха, опутавшая Московию.

И он понял уязвимость.

Камень был не просто голоден. Он был зависим. Эта сеть была не только инструментом власти. Она была системой кормления. Разрушь узлы — и голод станет невыносимым. Голодный Камень может стать неразборчивым. Может начать пожирать своих слуг.

Андрей открыл глаза. Взгляд был чистым, острым, лишённым всякой теплоты. Как у той самой собачьей головы, что когда-то болталась у его пояса.

Он поднялся. Его движения были экономичными, точными. Он подошёл к алтарю, к книге Басманова. Вырвал несколько страниц с описаниями ключевых Ульев, с именами самых старых, самых сросшихся со своими «псами» опричников — столпов системы. Сунул их за пазуху.

Потом он повернулся к Камню. Не как к божеству. Как к инструменту. Тяжёлому, опасному, но теперь... понятному.

— Хочешь есть? — произнёс он вслух, и его голос звучал чужим, отзвучавшим от каменных стен. — Покажу, где мякотка.

Он не пошёл к выходу, которым пришёл. Он пошёл вглубь склепа, за Камень, куда вела ещё одна, более узкая щель в скале. Он знал, что она там есть. Камень показал ему. Это был его личный ход. Путь наверх, минуя все ловушки.

Он вышел не в слободу. Он вышел в подвал под одной из каменных палат на территории самого опричного двора. Рядом с покоями Малюты. Пыль здесь лежала нетронутой годами. Его появление не вызвало ни звука.

Следующие часы были похожи на сон наяву. Он двигался как призрак, используя служебные ходы, тени, свою новую, леденящую безразличность. Он был не человеком, а функцией. Функцией уничтожения.

Он находил Ульки. Не большие, как в Заболотье. Малые, спрятанные в подвалах казарм, на задворках конюшен. Он не сражался с охраной. Он просто... касался их. Камнем-ключом Силуяна, который теперь горел в его руке холодным синим пламенем. Касался, и Ульки замирали, их связь с Камнем снизу обрывалась с тихим, душераздирающим визгом. Без подпитки они начинали трещать, синий иней покрывал их, и они рассыпались в пыль, унося с собой часть силы своих хранителей.

Он находил опричников из списка. Старых, с мутными глазами, у которых собачьи головы на поясах почти не отличались по цвету от их собственной кожи. Он не вступал в бой. Он смотрел им в глаза. И в эту пустоту, что была теперь в нём, лилась их собственная, накопленная за годы связь с Камнем. И они узнавали. Узнавали не его. Узнавали то, что стоит за ним. И падали на колени, хватая себя за головы, из которых вырывались хриплые, животные звуки. Их «псы» на поясах завывали последним, предсмертным воем и рассыпались в труху.

Система кровоточила. И Камень внизу, лишаясь привычных источников, начинал трястись от голода. Землетрясение чувствовалось под ногами. В слободе поднималась паника.

Он пришёл к Лютому в тот момент, когда тот, с безумными от боли и ярости глазами (его связь с Ульем в Заболотье была сильнейшей), собирал верных ему опричников. Увидев Андрея, Лютый зарычал и ринулся в атаку.

Бой был коротким. Лютый был силен, быстр, одержим. Но он бился против человека. Андрей же бился с помощью Камня. Каждый удар Лютого встречался не просто саблей, а волной леденящего оцепенения, исходившей от Андрея. Когда чёрный клинок Андрея нашел свою цель, он вошёл не в плоть, а будто в тень, в самую суть связи Лютого с его трофеем.

Лютый не умер от раны. Он умер, когда его собственная, некогда могучая собачья голова взвыла и обратилась вспять, втянулась в него, в его плоть, в его разум, поглощая последние остатки его воли в панической попытке вернуться к Камню. От Лютого осталась лишь бесформенная, трясущаяся масса плоти и меха, тихо хлюпавшая на полу.

Андрей вытер клинок. И пошёл к Малюте.

Малюта сидел в своей избе за столом. Он не писал. Он ждал. Перед ним стоял кубок вина, но он не притрагивался. Когда вошёл Андрей, он лишь поднял на него взгляд.

— Я чувствовал каждую смерть, — тихо сказал Малюта. — Каждый разрыв связи. Как зубную боль... во всём теле системы. Что ты сделал?

— Почистил псарню, — ответил Андрей. Его голос был пустым.

— Ты убил не людей. Ты убил идею, — сказал Малюта, и в его глазах, впервые, был не расчёт, а нечто похожее на ужас перед учёного, увидевшего, как его формула оживает и выходит из-под контроля. — Без них... без этой сети... Камень...

— ...голоден, — закончил Андрей. — И он знает, кто его главный кормилец. Кто строил эту сеть.

Малюта медленно встал.

— Басманов.

— Он уже бежит, — сказал Андрей. Он чувствовал это по сети. Старый паук пытался уползти из трещины по швам паутины. — Но Камень его не отпустит. Он протянул к нему корень.

Вдалеке, со стороны царских палат, раздался не крик, а долгий, затухающий стон, полный такой древней, такой абсолютной боли, что даже воздух затрепетал. Стон Алексея Басманова, в которого вросли каменные жилы из-под земли его же собственного творения.

Малюта вздрогнул. Он посмотрел на Андрея, на этого пустого, холодного человека, стоящего на пороге.

— И что теперь? Ты новый хозяин? Новый Басманов?

Андрей покачал головой.

— Я — конец цепи. Я — тот, кто отрубил голову собаке, которая кусала свой хвост.

— А Камень? — прошептал Малюта.

— Камень... будет спать. Очень долго. Голодным. — Андрей повернулся, чтобы уйти. — А ты, Малюта... ты будешь жить. Смотреть, как твоё детище рассыпается в прах. Помнить. И бояться. Бояться, что я вернусь, если ты захочешь построить что-то подобное снова.

Он вышел, оставив Малюту одного в тишине, нарушаемой лишь далёкими, паническими криками из рушащейся слободы и тихим, затихающим гулом из-под земли, похожим на всхлипывания усыпленного, но не убаюкиваемого ребёнка.

Андрей вышел за ворота опричной слободы на рассвете. Он не оглядывался на дым, на хаос. Он шёл по пустынной московской улице. В его кармане не было колокольчика. На поясе не было собачьей головы. В руке — только сабля из чёрной стали, которая больше не пела и не гудела. Она была просто куском холодного железа.

Он был пуст. В нём не осталось ни страха, ни ярости, ни даже ненависти. Только память. И холод. Всепоглощающий, каменный холод, идущий из самой глубины, от того места, где теперь вечно голодный Камень спал, убаюканный им же поданным отчаянием.

Он не был героем. Он не победил зло. Он лишь отравил его, подмешав в его пищу яд собственной опустошённости, и заставил свернуться в клубок в самой глубине.

А сам стал ходячей могилой для всего, чем был. Ходячим напоминанием. Псарём, который запер псарню и выбросил ключ... в колодец собственной души.

Впереди была Русь. Бескрайняя, тёмная, полная страха и без него. Он шёл в неё, не зная куда. Просто шёл. Потому что идти было больше некуда.

А под землёй, в глубокой тьме, Камень видел сны. Сны о страхе. И в этих снах иногда мелькала холодная, пустая фигура человека, который когда-то накормил его самым горьким, самым сытным пирогом. И Камень, даже во сне, вздрагивал.

Чешир и Шатком Городе Ключ от Хаоса

«Чешир Из Шаткого

Мир не сломан. Он просто... не собран по инструкции.

И слава богу.

Всё, что можно каталогизировать — уже мертво.

Мы боремся за право быть живой ошибкой.

Порядок — это сон разума, который рождает чудовищ.

Но что рождает хаос, когда он наконец просыпается?

Бойся не тьмы, а того, что не оставляет теней.»

Глава 1. Дым вместо кожи

В Шатком никогда не было настоящих сумерек. Либо ядовито-жёлтый день, вдавленный в грязное стекло окон, либо вот это — густая, бархатная тьма, которая не просто скрывала улицы, а поглощала их. Она была живой, дышащей, и в её дыхании тонули звуки, запахи и надежды.

Именно в такой тьме он чувствовал себя как дома.

Чешир сидел на карнизе облупленного доходного дома, свесив одну невесомую лапу в пустоту. Под ним улочки Шаткого сплетались в вечно меняющийся лабиринт. Где-то вдали мигал неон борделя, вывеска которого сегодня читалась как «Слёзы ангела», а завтра, глядишь, будет «Глотка демона». Здесь так было принято.

Он поднёс к губам сигарету, вдохнул. Дым, выдыхаемый им, был гуще ночи и пах не табаком, а озоном после бури и остывшим кофе. Он наблюдал.

Вот тень от фонаря на кривом переулке вдруг оторвалась от земли, приняла форму длинных, костлявых пальцев и потянулась к зазевавшемуся прохожему. Человек, котелок съехавший на затылок, отшатнулся, пробормотал заклинание-оберег и побежал прочь. Кот усмехнулся. Его улыбка, яркая и неоновая, на мгновение озарила стену позади него, отбросив две парящие в воздухе жёлтые точки — его глаза.

«Скучно», — прошелестел его голос. Он не звучал в ушах. Он возникал прямо в сознании, как назойливая мелодия. «Стабильный, предсказуемый хаос. Как протухшее пиво».

Именно в этот момент воздух на соседней улице схлопнулся.

Это был не звук. Это было ощущение — будто вселенскую ткань дёрнули за нитку. Тишина, наступившая после, была хуже любого грома. Она была безжизненной. Исчезли шепот теней, пропал запах магии, даже гравитация на мгновение застыла в нерешительности.

Чешир медленно повертел сигарету в пальцах. Его улыбка не дрогнула, но в её изгибе появилась острая, хищная нотка. Интересно.

Он растворился. Не поплыл, не спрыгнул — его тело просто перестало быть на карнизе, оставив после себя лишь медленно тающее в воздухе облачко дыма.

Он материализовался на краю крыши, глядя вниз, на ту самую улицу. То, что он увидел, заставило его шерсть на мгновение перелиться тревожным алым.

Улица была идеально прямой. Камни мостовой легли в ровные ряды, без единой трещины. Стены домов выпрямились, потеряв свою вековую кривизну. Воздух был стерильным и пустым. И посреди этого бездушного порядка стояли двое.

Серые Клинки.

Высокие, до потолков первых этажей, фигуры, вырезанные из сплошной серости. Их конечности были слишком длинными и угловатыми. Они не шли — они скользили, не оставляя следов. У них не было лиц, только схематичные линии, напоминающие чертежи механизмов.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.